

„N,,Y,,{,,Y,,,,,P ,, `,,~,U,,R

1+1=1. Роман

Часть 1. Дневник Вени Атикина 1989-1995 годов

ПРО ГОГОЛЯ

Гоголь более русский тип, чем Пушкин. Ведь быть уморенну гораздо менее народно, чем уморить самого себя. Недаром в 2937 году части народа, подлежащей убиению от имени другой его части была инкриминирована именно чуждость. В этой казённой неправде по вечной печальной русской иронии есть большая правда. Тут ведь дело не в интеллигентности перед неинтеллигентностью, тёмностью. Тут другое. Здесь скорее, из темноты судьбы интимный выбор на самоуморение, а всякое просветление отстранение от сплошного с потайным делается заложником, жертвой самоуморения, умаривается тоже. Почему так? От неразрешимости выбора между историей и природой, сказали бы мы. От провидения, сказал бы православный христианин. От предназначения всякого народа в истории, сказал бы умудрённый западникославянофил, какой-то кентавр Хомяков - Чаадаев...

А Гоголь ничего не сказал, кроме того, что ему хорошо лежать лицом к стене. Наконец-то. И чтобы все отстали. Сладко, благодатно и единственно. Зачем водка, зачем мат, зачем блуд.

ПРО МАТ

Бытие значит. Добраться до сокровеннейшего - дружить с голизной. Открывшаяся, явленная в новейшей истории бездна лишь обрамляется концом истории или, скажем, безбожием личности. В таком положении измерить её, понять, поять - жизненно необходимо. Занимаются этим соответственно - учёные, философы и поэты. Это все люди. Учёный, ученый жизнью человек скажет: наука жить - это метод обходить бездну. Профессионально. В поделках. Подделках под жизнь. Т. е. обраться делами, не жить, обходиться. Философ скажет: понимание - не значит быть бездной, а значит быть с бездной. Поэт скажет: жизнь нужно поять, жить с ней. Сущность жизни - бездна. Зерно бытия - небытиё. Понимание этого и есть человек. Просто человек, без профессий. Дальше ему надо становиться. И он делается профессионалом. Скажем, алкоголиком, т. е. принципиально - поэтом. Он сам слово. Слово о бытии. О своём бытии. Слово матерящееся, безобразное, откровенное.

Что есть мат? Мат сводим к одному слову, называющему акт эмпирического бессмертия существа, в данном случае человека, размножения. Но мат абсурден. Ибо он в мать. В таком смысле он есть словесный заговор, вгоняющий не токмо сущность человека, к кому обращается заговор, обратно в лоно, в род, зачатие, небытийствование, но, поскольку всякий язык мифичен, физического человека в несуществование, разматериализацию, аннигиляцию. И в таком случае он есть просто психоаналитическое средство снятия аффекта на нашем уровне общежития с бездной. Ведь я только что при помощи шаманского камлания разматериализовал себя или оппонента. Но мы вот они есть, сенсорно ощущаемы. И о чудо. Значит, что-то есть. Бытие есть, жизнь есть. Аффект снят.

Тело со всей своей психической функцией на мгновение вылечено, ведь сущность всякого аффекта в ускользании бытия: ничего нет и ничего не бывает. Выходит, человек матерится не потому что у него нет «ничего святого», сколько потому что он боится это святое, внятность ощущаемого бытия, потерять. И вот он «засовывает» себя в утробу (в мифической реальности), поскольку всё же уста его, глядит оттуда на своё место в мире и как бы говорит себе: ан нет, всё же, что-то есть, что-то сладкое, смысл, существование и забирает его себе, имаёт, ловит кайф. И так каждый раз. Но из медицинской практики мы знаем насколько притупляется сильнодействие средства при его частом употреблении.

ПРО РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 19 СТОЛЕТИЯ

Организовать свои отношения с книгами, с людьми и с местами. С книгами надо понимать, с людьми надо ждать, с местами надо жить мне. Люди сами места и книги, в некотором роде. Местности и мысли, линии и краски. Это нехорошее отношение. К себе мы относимся по-другому. Как к чему-то неделимому. Нужно или к себе относиться по-другому, или к людям как к себе. Т.е. всё время искать собирающий ключ, совпадение. Но я не знаю, насколько это возможно в жизни и не будет ли такое всё равно отвлечением от точной живой жизни, называемой человеком, именем. Я, скорее, склоняюсь к первому. К тому, чтобы отвлекаться от себя, считать себя героем собственно себя, т.е. всей жизни, уходящего своими таинственными корнями во всю жизнь без остатка.

Такое раздвоение по лермонтовской аналитически - артистической методологии сулит несказанные несчастья, но это наследство Европы, которое мы, русские, восприняли настолько прочно, что воспитались на этом как на собственной судьбе во многих поколениях. Такое раздвоение сулит пустоту внутри, между, и есть собственно нигилизм, как он предсказан Ницше и показан Хайдеггером, но задолго до этого преодолён всем ходом классической русской литературы (в частности прозы, аналитический аспект) 19 века, самый нерв которой есть преодоления ада пустоты между кощунственным сарказмом над обыденной жизнью и мертвенной патетикой лирического прозрения, проницания существования у Гоголя, который и наметил, и определил весь ход этой работы, сам замахнувшийся на этот гигантский труд и сломавшийся, надорвавшийся над абсолютно невыполнимой задачей преодоления сей бездны для себя.

Далее Лермонтов фиксирует сию психоаналитическую бездну с фундаментальных позиций и намечает пути чистилищу Достоевского (здесь особо примечательны язык и приёмы. Насколько невозможно от воскового, совершенновылепленного языка и фантомного мышления Гоголя перепрыгнуть к аналитическому мышлению и «психическому», невыдержанному письму Достоевского без приёмов психологического романа Лермонтова и его кристально - чистого и несколько банального слога), для которого как и для Гоголя все картины его это он сам и средство преодолеть некий недуг в себе, но насколько жизнь в его лице приобретает средство к борьбе, настолько в лице Гоголя - лубок отчаяния.

Так же точно невозможно перескочить от Достоевского к Толстому, разбившему на своих страницах прекрасно-холодный, чувственно-аналитический рай, без хоть бы одного романа Гончарова «Обломов». И здесь как в «Печорине» ситуация меняется наоборот. Роман наполовину философски-эстетический трактат о сверхчеловеке Штольце, наполовину великолепная проза о райской, ностальгической, поэтической, отмирающей помещичьей жизни Обломова. Ведь недаром Толстой выбрал именно период 10-20 годов 19 века. Ситуацию чуть не единственного русского воплощения за 1000 лет общежития по неизвестному нам до сих пор поводу. Здесь всё имеет свои смысл и цену, и европейская прививка Петра, и война 812 года, и экономический надлом за сто лет до этого, и небывалый культурный и общественный подъём, и лебединую песнь русского дворянства. И через 40 лет это уже оценилось Толстым, ибо прошло не 40 лет, а целая бездна, эпоха исторического времени.

Вырождение русского дворянства (посмотрите линию Толстой - Бунин - Набоков именно в интересующем нас аналитически - эстетически - нигилистическом отношении и вам многое станет ясно), как бы цена этого постижения и рая в Толстом. Здесь реально применимы пушкинские слова в самой своей поэтике, «что пройдёт, то будет мило». Единственно возможный на земле рай, как воспоминание, как ностальгия, как память, как некая твёрдость в самом человеке чтить и блюсти его в реальном, исполненном пустоты мире. И здесь линия Толстой - Бунин - Набоков так же актуальна и аналитически глубоко разрабатываема как линия Гоголь - Лермонтов - Достоевский - Гончаров - Толстой для современных судеб людей и страны.

Посмотрите, деятельность всей второй половины Толстовской жизни разве не один философски - нигилистический трактат, о чём удачно писал Шестов, смысл которой может быть сведён к гениальной философии смерти в «Смерти Ивана Ильича», тогда как «Война и мир», по сути, великолепный рассказ об Обломовке и её обитателях. Так же как у Лермонтова в его маленьком произведении чётко как в капле воды отпечатывается живой мир как чистилище, преодоление

бездны вне человека как её самой внутри него, так потом у Достоевского драма разворачивается до своих космических пределов. Как у Гончарова итог пушкинской мысли дан в блестящих и беглых мазках и штрихах к портрету, так же чуть позже у Толстого, как бы оканчивающего весь дворянский период, когда он давно закончился, мысль эта разворачивается с небывалой ясностью и отчётливостью. Я бы в школе или где там ещё так и давал Толстого, сначала «Смерть Ивана Ильича», а потом «Войну и мир», чтобы было понятно, откуда такое необыкновенное понимание жизни, прямо животом, а не умом, от страха и ужаса абсурда смерти. Так же, как, впрочем, и весь свой курс я бы порекомендовал в школе.

И вот потом, в довершение смысла, к нам являются две фигуры. Чехова как завершителя русской классической традиции и одновременно, конечно, декадента, ибо без него невозможен переход, ни к символистам, ни к так называемым декадентам, по сути, к русской революционной ситуации, грубо (исторически) говоря. И только потом Пушкина-прозаика. Важна развязка. Чехов, увязнувший между Гоголем и Пушкиным. И Пушкин, «зависнувший» со своей непостижимой «преизбыточной» мерой над «пустой» мерой Гоголя, над «холостой», а по сути фальшивой мерой Достоевского, над «холодной» мерой Толстого. Чехов как всякий декадент (фин де сьекль) мятётся между пропастью без дна и живой жизнью, исполненной полноты. Его артистизм и его холодность, то что позволяет его назвать собственно мастером, единственно мастером в русской литературе и одновременно мелким писателем позитивного толка. И насколько это вплетается в общее течение мирового декаданса (Флобер, Акутагава). Артистическое письмо, законченное в себе (танка - Мандельштам) и неуловимый смысл, скорее, не смысл, а впечатление, настроение полноты жизни, которые только и могут быть переданы в импрессионистически-аналитической восточной манере. Два - три штриха, не больше, и вот портрет, к которому жизнь должна примыкать как лошадиный торс к человеческой голове у кентавра.

Но собственно русское достижение это, всё же, нечто большее, как раз относящееся к тому периоду, который мы назвали коротким русским плодоношением, двадцатипятилетием царствования Александра. Без идиллии, а основываясь на памятниках, реальных текстах, их подробном и глубоком понимании на основании трагического и я убеждён героического (в древнегреческом смысле этого слова) опыта современной нам жизни. «Станционный смотритель», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» лучшее лекарство просто, и многие это чувствуют, но что это за лекарство, и почему оно такое, это ещё надо понять. Понять как иероглиф, посланный нам жизнью наудачу о том, что живое в ней никогда не пропадало, но просто закрывалось, когда так получалось, что мы закрывали это в нас самих. И понять это внятней всего в противостоянии Чехов - Пушкин, по-моему. Ведь жертва всё равно приносится человеком (таково положение вещей), вот и важно понять, к чему её приспособить. Ответ на этот вопрос сполна есть только у Пушкина, его ещё надо разгадывать и разгадывать, и в том числе текстологически, по предложенному образцу. Он жизненно важен для нации и является одновременно целью, задачей и местностью её существования и осуществления. Здесь мы возвращаемся к началу нашей статьи. Как организовать отношения с книгами, людьми и местами, чтобы получилась жизнь, и ставим на этом точку пока, ибо как было сказано, точная и чёткая постановка вопроса чуть больше половины ответа вмещает в себя.

ПРО ДЯДЮ ТОЛЮ И БАБУШКУ

Я ехал после армии в Москву за тремя вещами: за тусовкой, за любовью и за посвящением. Это и есть - поэзия, философия и вера. Это и есть трехипостасность Бога и мира. Бог-отец, Бог-сын, Святой дух. Грубо говоря.

Дядя Толя хмельной бьет крышкой кастрюли восьмидесятилетнюю старуху мать. Несильно, от озлобленности своей на мир. Но она старая и скоро умрет, а он как-никак сын и рядом и ухаживает, хотя бы тем, что рядом. Вот это и есть Бог-отец. И я это тогда почувствовал, когда был последний раз в деревне. Ветхий завет. Со всем: с ничтожным, низким, жалким, подлым, гнусным и вместе, почти тут же, великим, нежным, мягким, заботливым, жалостным, тонким, даже умным, всегда помня о том, другом. Всё это есть сейчас в кондовейшем русском общежитии, но кто

опустится на такую глубину праха, рассмотрит, покажет свету, что он еще силен, не весь еще сгнил. На манер того, вспомненного Розановым, обычая с вывешиванием рубашки невесты и простыни на свадебном застолье во свидетельство силы жениха и непорочности невесты.

А я тогда не выдержал, психичка, этого постоянного подглядывания друг за другом и диктата, давления друг над другом. Влезания в душу друг другу. Хотя и понимал, что всё это «фюзис», цветок, который так распустился теперь. Армия, метафизика, нигил. Всё схвачено и всё в связях. Нет ничего, кроме меня и я блюду всю прилегающую местность. Что это и есть Бог-отец, страшное и вместе, внутри ласковое рощение отцом сына, доморощение, домостроение.

И всё это на нервном срыве. Не выдерживаю, сам блудник и психопат, подноготник ещё пуще дяди Толи. С его двадцатью пятью годами службы водилой сержантом в милиции, пьянками, драками, замученной женой, умершей от рака. Дочерью - московской советской царицей блюстительницей бала женщиной хлебосолкой матерью.

Профессиональным алкоголизмом, золотыми руками. Все делает сам, работая в милиции, шпаклевал богатым заказчикам полы, клал паркет, делал ремонты. В деревне выделял все что нужно: грабли, сохи, мебель. Перекапывал два раза в год, весной и осенью, огород, огромный надел земли «лопаткой», все лето глудя на картошке разбивал деревянной самодельной колодой. Все это при полнейшем равнодушии к результату, урожаю, итогу. Лишь бы была бутылка или на бутылку и тема о чем поговорить, тот же урожай. С непременно переходом от благодушия «у дугу» к ненависти и драке, «кила болит, гудня б.....я» после.

Потому что в свое время, лет с одиннадцати, все лета проводил в деревне, и он меня выдрессировал на постоянной трясучке, ознобе, когда друг мимо друга проходили. Причем, ясно за что ненавидит, за то, что рядом. Был бы рядом столб, и столб ненавидел, но живой человек лучше, больше поводов к ненависти. Он и рот раскрывает, и за себя когда-никогда постоит, чем еще больше раздражит, до швыряния камней, топоров, ведер, плевков в лицо. Удивительно, что еще будучи одиннадцатилетним мальчиком (я всегда был довольно хил), я всегда его побеждал, забарывал и сидел на нем в конце драки. Вот оно - бессилие гнева, перегорание всего организма в сухом огне самосожжения гнева.

Да еще и моё нынешнее невоплощение, тоже уже исконно русское с возрастом. Неприкаянность, непригодность, ненужность меня жизни этой с людьми. Не выдержал и когда в очередной раз был «послан». Якобы помогал, картошку пропалывали. Хотя никакой помощи эмпирической, материальной ему не надо, но буквальная, чтобы кто-то был рядом. Он в этом нуждается больше других, один не может вообще, по крайней мере, раньше не мог. Может быть, теперь со смертью бабушки (матери) останется в деревне и привыкнет. Но вряд ли. Хотя, это было бы хорошо. По человечески. Но он бы спился окончательно. С соседями. Один по правую руку, Синель. Заросший густым синим волосом мужик, похожий на лесного духа, какого-нибудь кикимору или лешего раскорякой. Другой, по левую, Сербиян. Лет тридцати пяти. «Работать не хочет». «Не служил». Сбежал. Оба сидели, в деревне все пьют и спиваются. Люба, дочь, его заберет в Москву и дядя Толя будет пить и смотреть за детьми.

И вот когда послал в очередной раз, я не выдержал этого мнимого унижения и послал его тоже. Хотя года четыре уже не мог слышать мат, сидел дома и ненавидел вокзальную современность. Он бросил в меня комлем, я бросился на него и в прыжке сбил ногой, повалил на землю, вывернул голову, зажал рот, чтобы не смог плевать, сел сверху, держал руки пока утихнет в буйстве бешенства и ненависти. Как будто и не было этих семнадцати лет. Армия, институт, одиночество, работа, литература. Ясно помню точный расчет движений в неподвижности мысли, когда бежал, когда прыгнул, когда толкнул ногой, чтобы упал. И полная неподвижность, как будто нет ничего, кроме этого «ничего» и узкой как нитка стрелы задачи - обезвредить.

Не заступался, когда ругался матом при мне на бабушку, потом видит, что я ничего, а может и не следил, а само по себе, раз не останавливают, не говорю, стал вести себя как обычно, кривляться, гримасничать, бить, толкать. И бабушка плачет, и ясно видно, что всё это по злобе и не по злобе одновременно. Так получилось. Бог-отец. И моё: пусть будет так, как будет. Это хорошо и глубоко, нет ни малейшей силы, другой, поворотить, изменить что-либо. Но вот когда коснулось меня, только меня и одного меня и сам уже озлобился, что не дали почитать ночью и следят все время. Как будто и нет меня, а есть только они. Когда «оскорбили», так сразу бросился разоружать,

заступаться за себя в себе.

Сразу стало все легко, хорошо, понятно и ясно, как слез с дяди. Надо уходить. И весь простор, глубина и свобода «уходить» открылись. О, это моё всегдашнее уходить. Я всегда только уйду от всех вещей и людей мира и жизнь свою построил так, что единственно твердым в ней осталось: еда, сон, редкие любовь, чувство, тетрадь (письмо), книга. А все остальное, другое, оставшееся почти всё - уход, надвигающаяся пустота - уход от которой только к этим твердым вещам.

Спасительны мысли, воспоминания, чаянья, но это так редко приходит, а по-другому построить свою жизнь не могу.

А уходя, сказал бабушке, что подрались с дядей Толей. Садизм любопытства, бестактность тона, что то, что произошло сейчас с тобой космически важно для всех других. Бабушка заплакала и сказала, а как же она останется, и стала собирать что-то на дорогу. Я совсем без чувства стал «забирать её с собой». Понимал, что все это пустое. А она стала извиняться передо мной. Что она перед всеми виновата, восьмидесятишестилетняя старуха, родившая всех. Что она теперь это понимает и перед всеми извиняется. И я почувствовал, была в ней, в её словах, и жалость к себе, но уже очень мало. Но главное, большое, не усталость даже, желание на всё махнуть рукой, кинуть всё, тем более что ничего и не осталось, все попало грубостью, жестокостью и холодом жизни. А Бог-отец. Как мы все со всеми нашими отношениями и несказанным перемешиваемся вместе с другими вещами мира в какого-то сказочного Бога-отца, который всё время здесь, всё время рядом, где-то сбочку, туточки, возле лица, за спиной, как смерть, на затылке, на темечке, как нимб священного сияния, за створом двери, за поворотом, за деревом, на ветке. В общем, везде и нигде конкретно, как вещь, как общая радость, на которую бы все могли придти, и показать пальцем, и надорвать животики, и облегчиться.

ПРО МЕРУ

В Ахматовой было веденье. «Но Софокла уже, не Шекспира предо мной темнеет судьба». Это и есть русская революция и дальше от европейской истории к своему русскому искусству, своей русской судьбе, от европейской срединной драмы к крайнему трагизму меры, удержанному в общежитие ценой жертвы и подвига. Гамлетовская тусовка это претензия знать точно, судить. Трагедия, трагичное продвигается дальше вглубь мироздания. Но Гамлет не трагичен, он драматичен (интересен, глубок, захватывающ в сложности), а трагичен мир, который так устроен. Тогда как у Софокла мир и герой одно - это мера, по которой всё существует и погибает, когда убивает её в себе.

Жертва и жертва. Жертва древняя это торжественное праздничное приношение богам (главным) в знак того, что они по-прежнему главные и он ни в коем случае не покусился стать главным. Жертва современная это газетное происшествие, просто гибель человеческой жизни, которая уже настолько важна, что всякая такая гибель в любом происшествии, будь то пожар или захват «Боинга», есть жертва. Здесь почти гласно присутствует смысл, что человеческая личность - самое главное для мира и жизни, и её гибель есть жертва трагичности, абсурдности мира. Гамлет - жертва нелепости положения, в котором ничего не понятно, не определено ясно и до конца, но разворот событий требует немедленного решения и поступка. Трагичен мир, он меняется каждый миг как ловушка, но Гамлет самодостаточен, неподвижен и неприкосновенен как бог, он сам бог, взятый отдельно от этих меняющихся обстоятельств жизни.

Трагичность в современном мире это нелепая жестокость. Трагичность древнегреческая, по сути, синоним необходимости. Показательно, что филологи перековеркали пушкинское название. Не маленькие трагедии, а драматические отрывки. Пушкин, человек новейшего времени со всем своим умом останавливает действие на пороге трагичности, когда драматичность положения исчерпана. Маленькие трагедии это смешно. Это как «человечек» в разговорной речи с присюсюкиванием, нужный человечек. Драматические отрывки это в точку. Отрывки, потому что драматические. Драма всегда срединна, она не знает откуда и куда приводить героя, ведь герой сам себе бог, он самоценность, интересно, что у него там внутри как то, что снаружи него. Драматические, потому что отрывки. Человеческий дух стал метафизичен, отрывочен, как только

стал самодостаточен. Если не существовало бы смерти, тогда ладно, всё успеем, а так: или - или. Вот предмет драмы, не трагично, страшно, а драматично, интересно. Трагикомично, занимательно, замечательно, что же герой выберет, как он отличится в силу своей правоты.

У Пушкина это наработанный приём, на это набита рука. Пушкинская форма всегда незавершённая, она кентаврична. Недаром Пушкина сравнивают по форме с Чеховым, другим творцом формального кентавра, эквивалента художественной, артистической меры в русской прозе. Именно по схеме: драматическое - трагическое. Всё трагичное, как голову героя, он оставляет жизни, и рассказывает об этом весьма драматично, интересно, рисуя торс животного. По сути, это дуэль, с кем вы, с трагичной жизнью, значит, сразу отдайтесь ей, чтобы не было и речи о жертве, чтобы жертва была загнанна вглубь естества, вместе с жизнью, неотделима от неё, и всё тут, а какая она там, Бог разберёт. Или вы судите жизнь, смеётесь над нею, интересуетесь ею. Не трагичное уже отмеряет меру человеческого поступка, но драматическое соперничество самолюбий жизни на пространстве художественного произведения, отвлечённого от жизни, доводит положение до дуэли драматического и трагического, высокого и низкого, своего и чужого.

Такая мера подвижна, она всегда сверх меры, ницшевское сверхчеловеческое воление в разрезе. Каждый раз она на новом месте, как ловушка в «Сталкере». Она всегда может сказать что-то новое про жизнь, но жизнь ей готовит главную неожиданность. То, что она живая, живая всё время. Антигона только заступает за меру. Гамлет хочет быть мерой. Пушкин - мера. Как только понимание положения жизни из драматического делается трагическим, движение художественной мысли останавливается, дальше собственно дуэль, поступок жизни. Пауза искусства понимания не может длиться очень долго, для сознательного Пушкина это семь лет. Дальше он не выдерживает и срывается на трагический поступок в роде Антигоны, но с обязательным привкусом светского скандала дурного тона, ведь жизнь не более как драматична и не об чем ломать копья.

Здесь государственное и государственное. Пушкин стрелялся с интригой. Дантес тут, конечно, не при чём. Если уж кого и подставлять, то, скажем, Маяковского с его буффонадой трагического. Держава держит в своей ежовой рукавице. И страна, и жизнь здесь одно и то же, ибо держимый, что одержимый, об этом может рассказать собой самим или с собой самим, разница немалая.

ПРО ЧМО

«Через человеческое обращение в Бога всего».

Т.е., или человек может превратиться сам в бога всего, или обратить всё в Бога вместе с собой. Т.е., остаётся что-то такое невыясненное в самом человеке, к чему можно относиться как к начальнику и отдавать ему его именно отдельно. Как это делало искусство, только на бумаге. Можно сказать про это - жизнь, а можно - язык, а можно - Бог. В общем, все самые банальные, обычные, тёплые слова подходят, они утоплены в это, так что дают почувствовать это, когда вы настроены должным образом. А настроены должным образом вы лишь тогда, когда вы понимаете, что вы только переносчик (хранители, пастухи бытия у Хайдеггера), (попутчики, сочувствующие, если пользоваться большевистской и советской терминологией) от природы к слову (от фюзиса к логосу в Древней Греции) со всей своей европейской личностью и христианским гуманизмом, которые как паук оттягали себе удобства жизни на современном Западе в виде модного прикида, вкусной хавки и сладкой житухи. Русского человека, слава Богу, пока всё ещё не совсем на это хватает, его ещё надо заставлять работать, чтобы жить как в Америке. Т.е., другими словами, он ещё отдаёт Богу Богово, а кесарю кесарево.

Но метафизическое обращение его в бога всего делает его автоматически деталью механизма: мир есть бог для тебя, в том смысле, что бог это сладость жизни. В конце концов споры богословов о царстве Божию на земле, и если оно воплотится, оно будет антихристово, а не Божие, потому что Божие не от мира сего. Шифр, заложенный в этой легенде, верен, что самое смешное, когда вы начинаете его расшифровывать, то говоря про одно вы всегда имеете в виду и другое. «И поэтому мудрый ощущает мир животом, а не глазами, поскольку отказываясь от одного, он обретает

другое», Дао де дзин. Живот на древнерусском языке - жизнь. Ощущать животом, своей личной жизнью, это отвечать за свой базар. Русский переносчик от жизни к языку уже знает, в отличие от грека или европейца, что Бог у него в животе, совсем отдельный, как деточка, и его служба чиновная, он как роженица. Или всю жизнь должен пить, потому что не знает как быть с этим, или потихоньку отдельно держать и постепенно отделять, отлеплять, как роженица, как чмо армейское: сам в ничтожестве, в поту, пустой, зато когда бьёт ребёнок ножками или другие бравые и славные ногами в живот, тогда становится память, что-то такое, что можно назвать и совесть.

Бешляга приезжал по своим делам в батальон и водил вино пить в Дурлешты, даже, кажется, извинялся, ну не то, чтобы что-то слёзное, но хорошо бы в этом пункте иметь чистую совесть, быть добрым мужиком. Ночные подъёмы. Ребята выпили. Надо кого-то бить. Самых чмошных. Пересменка. Из одного призыва избирается несколько посвящённых, которые пьют вместе с сержантами, мальчиками, которые на пол года или год старше, а то и младше на много лет, потому что в одном призыве могут быть и восемнадцатилетние и двадцати четырёх. Короткий. Бешляга. Ну ещё несколько крепких мужиков. Причём, это не какой-то план, это просто жизнь. Другие как я лазят через забор части в подъезды соседних домов вытаскивать газеты из почтовых ящиков. Тоже метафора жизни, но жизни гражданской, неприятие, по сути, жизни армейской. Или как я убежал в ночное к дяде Юре в Одессе, чтобы полежать на диване, поесть варенье и посмотреть телевизор. А утром сумасшедшая тётя Лида, дяди Юрина жена, действительно, какая-то безумная еврейка, старый район Одессы, Молдаванка, кажется, выстригала какие-то шахматные клоки из головы, потому что на поверке в 8 часов все должны быть подстрижены. Кто не успел, в наряд или в челюсть. Вот уж действительно не успел, не преуспел, один на голом пространстве среди какого-то сплошного несчастья, тоска.

Вообще-то, место перед строем должно войти в памятники времён. Там два места, для кесаря и для Бога. Для сержанта и для его оппонента, которого надо избить перед строем в особо назидательных целях, как Терпелюка в столовой, огромного, доброго Терпелюка, который по пьянке в Запорожье мог бы задавить Белоконя или Авдеева, а здесь только закрывался блоками от ног летающих. Никто не знает, а я вспомнил, кто летал там вместе с ногами, главный начальник. А они хотели быть начальниками и были ими, конечно, для нас. А теперь я думаю, как чмо, по-прежнему: а может, это я был начальник, потому что вот, я помню, а для всех это что-то серое и бесформенное давно. А может, я помню, потому что лужу мочи руками собирал или из сапога выливал. Белоконь или Столяров или главный без лица, вернее, с красным, маленький и славный, потому что почти без личности, но зато с хваткой на всё смотреть, понимать, но не дальше этого и пить, ночью в сапог написали. В учебке гоняют, подъём скоростной, вскочил, натянул хэбэ, портянки, сапоги, пилотку, ремень, а строй уже стоит. В сапоге хлюпает почти до колена, а вылить страшно и стыдно. Так и хлюпал вокруг казармы на пробежке, может, главное, что меня тревожило, что нога застынет, был ноябрь. А остальное просто мгновенно приплюсовалось, приклеилось к той тоске в животе, которая началась. Когда же она началась. Когда первый раз подняли сержанты ночью нюх строить в порядке очереди и ещё радовался, потому что почти всех уже избивали, а меня ещё нет. Получил ничтожный удар «в пуговицу» от Авдеева и сказал, «есть». Причём, думал, что в знак протеста, а узбеки, слушавшие в кроватях рядом расценили, что в знак, наоборот, чмошности. Может, с этого она и началась, ведь до этого я был весьма славен. Хотя нет, перед самым переездом из Измаила в Одессу я попал на кухню и там началась ерунда с нарядами. Азербайжанец в столовой ударил. Вася-боксёр отрубил. А может, когда Ульмасов ударил за то, что пачку «Примы» присвоил, попрошайничали через забор покурить и какой-то добряк дал целую пачку. Нужно было поделиться, а я не хотел сразу, потому что безграмотно принял подарок за подарок, хотел сначала почувствовать его сполна себе.

В общем, люди били уже давно, и в деревне, в лето между 8 и 9 классами, и в 5 классе, но это не главное, главное, что был брошен этим, памятью на будущее, Богом в себе, а люди только привечали не своего. Вот и выходит, что и то - Бог, люди жили как умели, по хорошему. И моё - Бог, потому что только я видел в этом Бога. Помнил, потому что был отброшен, отделён, один, вбит людьми в одно и то же с ними, но как по-разному, как по-разному. С этой моей непрерывной тоской в животе и неуёмной боязнью людей, отчуждённостью от них. Но они же только хотели тёплого вместе и получали это тёплое, а я как жертва. Только жертва древних знала, что такое Бог,

а сами древние теряли постепенно веденье и превращались в современных, вот откуда Христос, агнец Божий, закланный за всех людей. Ведь это не только греческий ягнёнок, но и человеческие жертвы Молоху в Вавилоне, может быть даже в большей степени. Это Авраам, закалывающий сына, потому что Бог велел. Заколот он его или не заколот. Пожалуй, что заколот. Современные гуманисты, любящие людей и человечество в уединённых кабинетах на научных работах могут сказать про такую двоичность, что новое - чего ждёт мир. А для меня это не новое, а старое и страшное, чего мир уже однажды испугался и спрятался в историю. Потому что история тепла и там мы все вместе строим социализм. А это всегда здесь тут вот. И это страшный холод и тоска в животе, и память, и одиночество невыносимые, и неизвестно, что с собой делать: то ли повеситься, сброситься с балкона, то ли воображать, размышлять, мечтать про это.

1994.

Часть 2. Не страшно

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Валокардиныч - друг, вот это да! Валокардиныч мой друг. Ну ладно уж, Димедролыч, богемный, бритоголовый, с серьгой в ухе, художник, мономан, больной, одинокий человек, если по-русски. Смотритель Заяцкого острова раньше, а теперь коммерческий директор фирмы. Но Валокардиныч, толстый мужик, бабник, ругатель, военный моряк в отставке, хохол, золотые руки, хозяин, жлобина еще тот, но только от него за три лета я перенял привычку, что прижизненная чистая совесть дороже загробной компенсации.

А пришло все это в голову мне сегодня за утренним кофе. По утрам образуется некий вакуум, домашние ещё спят или уже служат, в школе, на работе. И как-то так из-за болезни или само по себе все мои занятия переместились с ночи на утро. Встаешь и с чашкой кофе, ещё не умывшись и не прибравшись, бросив дела и с какой-то кучей в голове тупо смотришь в одну точку, пока не почувствуешь сильный голод. Видно, работа идет тяжелая. Это как Настасья попрекнула Раскольникову:

- Что лежишь, как колода. Хоть бы делом каким занялся, была же раньше работа, уроки.

- Я работаю.

- Что же ты работаешь?

- Думаю.

Настасья была из смешливых, когда её рассмешат, она смеялась всем телом, каждой морщинкой и мышцей.

- И много денег надумал?

А Раскольникову надо было вопрос разрешить. Это как чёрное небо, пролившись дождём, светлеет неизбежно. В окошко меня загипнотизировали уголовные дядечки у Кулаковых. Я сразу сплел историю, на приколе «Алушта», суббота, туристический рейс из Северодвинска приходит обычно попить, отстояться. Примечательная подробность, каждый год на дорогах ставят новые указатели, куда идти, чтобы прийти к достопримечательности. Последние года на двух языках. И каждый год «Алушта» первое что делает - это сшибает указатели.

Торчащие палки без заглавий - примечательная подробность апокалиптического пейзажа. Валунный монастырь, которому лет четыреста, тайга, которой лет миллион, и вечно юные указатели, которым всегда меньше года. Любой ближайший кабак уместнее, но, видно, идея уикенда демократична и интригует не только перспективой пленера или молитвой в святых местах, но кабацкого хлестанья подле седых валунов, которым с последнего ледника, по подсчетам специалистов, триста миллионов лет. Ничего, потихоньку и мы возвращаемся в то же самое, год от года быстрее. Север теплеет и высыхает, юг заливаем водой.

Что это самолетновская криминальная крыша, уж больно дядечки были страшные, не тем, что пьяные, это не страшно, а тем, что вели себя, как подростки, будучи моими сверстниками, лет тридцати пяти - сорока, с дамами, в тужурочках кожаных и с ухватками понтоующихся

уголовников. Мы смотрели научный фильм про гиббонов, там это называется демонстрацией, когда надо победить гипотетического противника не столько в конкретной драке, сколько демонстрацией силы, мощи и развязности. В общем, я испугался.

Самолетов - бонза, как здесь говорят, сети частных магазинов по Летнему берегу Белого моря и на Соловках, приходится каким-то дальним родственником нашим соседям Кулаковым. Кулаковы всегда стирают. Что прислал своих «уголовных покровителей» на «Алуште» на уикенд, а Кулаковы должны были привечать. Непонятно, правда, при чём здесь Соловки, ну ладно уж, художники, один монастырь чего стоит или валунная дамба на Муксалму. Не верится даже, что это строили люди, с нашей гигантской усталостью нас хватает уже лишь на интернет и ужин с тоником.

Кажется, что это или снится, или счастливая райская загробность, или языческие боги из осужденных спускались на землю и строили православную обитель. Пусть паломники, им сам Бог велел здесь подвизаться, тем более после советской власти, первой расстрельной советской зоны для политических заключенных, потом школы юнг, во время войны, потом части минных тральщиков, от которых здесь остались кладбище металлолома на побережье, полуразвалившиеся корпуса в Комарово. Всё, что можно было унести на себе, за десять лет безвременья вынесено. Остались лишь шифер и кирпич до следующей радикальной перестройки общества в целях благоустройства страны и государственной идеи в целом.

А на самом деле, потому что цена за барель нефти упала на целых три доллара, а в Уганде найдено новое месторождение, полезная кубатура которого больше кубатуры Земли в пять раз. А главное следствие беспредела - чуть не половина офицерского состава, осевшая на острове. Причем, почти все военные моряки - образы, вдохновившие Сурикова написать картину «Письмо запорожских казаков турецкому султану». Все эти Покобатьки, Рябокони, Сивоблюи. А вообще, кого здесь только нет. Армяне, азербайджанцы, гагаузы, молдаване, китайцы, болгары, румыны, литовцы, греки, поляки, татары, белорусы. Русские, хохлы и евреи как костяк советской нации само собой имеются в виду. Последний осколок нашей многонациональной родины.

И вот я, чтобы убежать страха, убежал на рыбалку. А дальше начинается несчастье, или посвящение, которых на самом деле три. Несчастье как наказание, несчастье как испытание и несчастье как посвящение. На Большом Сетном не клевало, зато начался ливень, и я его переждал под елью, у которой с одной стороны пусто, а с другой никогда не бывает мокро под паутиной веток. Так что в тайге никогда не заблудишься, на самом деле, в буквальном смысле этого слова. Всегда будет куда идти, раз есть юг и север, а следовательно, запад и восток. Вместе с муравьиной кучей величиной с небольшую маньчжурскую сопку. Так что меня заботило только одно, чтобы не опереться на ствол, шевелящийся от дороги жизни, насекомых, жалящих целеустремленно, особенно когда их семь миллионов, и не позволять им забираться выше мокрых сапог. С особенным вдохновением они почему-то вгрызаются в пах, наверное, он пахнет как надо. Можно предположить, что первого, чего лишатся наши бранные останки, будучи преданы земле по обряду предков, это пола, по крайней мере, в этих местах. Правда, муравьиные колонии есть повсюду, только пожелтее и помелее.

«Наверное, муравьи, комары и черви последними покинут райскую землю. Предположить себе царство Святого Духа с ними трудно». Так сказала паломница Лимона, нынешний сторож Ботсада. Даря мне кедровые шишки и рассказывая, что Хутор теперь будет при новом директоре дачей для приемов. Угандийские мажоры, иже с ними, когда захотят, будут пить «Алазанскую долину» в Сочи, когда захотят - «Гжелку» в Соловках. И там и там все будет чики-поки, и девочки, и обстановка. А я говорил, что жил здесь год и шишек не помню. После болезни мне хорошо, можно становиться «настоящим писателем». Я ничего не помню, но потянешь за ниточку - и потянется вереница образов, мыслей, воспоминаний. Того, что еще зовут опыт, для передачи которого от поколения к поколению и нужны рассказчики, рассказывающие, что же там происходит на самом деле, что за история. На какую ступеньку лестницы каждый из нас поднялся в небо и на какой уступ пропасти провалился в бездну, чтобы его тогда потом спас человек Иисус Христос и превратил в одну любовь.

Впрочем, я слишком болтлив и беспрестанно отвлекаюсь, ну все, это в последний раз. Вот настоящая работа для филолога. Пока переживаешь ливень под елью рядом с муравьиной кучей,

трясёшься от холода и не знаешь, чем занять воображение, а потом воображение весь год бесперебойно будет работать только на этом топливе. Всё равно, как назвать, ностальгия, родина или графоманство. Потом перешёл на Большое Лебяжье, которое в прошлый раз обломило, пришлось уйти от хорошего клёва, потому что крючок оторвал окунь, а в коробке от фотоплёнки с запасными снастями оказалась фотоплёнка, супруга удружила. А потом началось кручение, как говорит Чагыч. Соловки, лес, тайга крутят, водят. По поводу того, что не получилась рыбалка, замёрз, вымок, но перемог и не вернулся. Если короче, ёмче и в переводе с русского на мой и общечеловеческий, невоплощуха долбит.

У меня навязчивая идея всё лето, добраться с Лебяжьего до Кривого, но тропы нет, а если есть, то в конце Лебяжьего, вытянутого, как брандсбойтный шланг. Местные знают особенное удовольствие лезть по обрывистым крутым берегам, по мокрому черничнику после дождя. Как поет Филя обычно на морской рыбалке в Валокардинычевой лодке, в которую набиваются трое детей и двое взрослых, больше, чем селедок в корзинке, когда не клюет, «Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша». Короче, решил лезть напрямки, а дальше знаете, что происходит? Сознание становится ясное, как слеза, и чистое, как спирт дистилат, и в нём одна мысль, как верстовой столб, туда. Затем она сменяется другой мыслью, ещё более целеустремленной, нет, туда. В общем, я заблудился.

Сколько болот и озер я прошел и на одном ли месте я крутился, я не понимаю и теперь, на следующий день, в шерстяных носках, выпив антиэпилептическую таблетку и с любимой чашкой на топчане, грея руки о горячий кофе. А бог Пан в это время дарил, или это был русский леший, или это архистратиг Михаил набирал своё небесное воинство. Панического страха не было, была работа рук и ног неутомимая. Буреломы я проскакивал, как медведь-шатун, валящий валежник. Упадешь в яму, споткнувшись о ветку, ствол или корягу, венчики мятлицы или метелки папоротника сомкнутся над головой, небо с верхушками сосен и елей завертится вокруг тела. Смотришь, а ты уже бежишь. Тот редкий миг, когда твоё я не поспекает за твоим телом и назван паническим ужасом, которого перестрадание уже есть природа мужества. Что было, это недоумение, когда так случилось, что мы стали отдельными от матери, и как это можно поправить. Даже вспомнил фразу Пастернака, «Человек умирает не на задворках, а у себя дома в истории». То болотце с морошкой, которую надо есть и есть, забыв обо всем, то озеро, явно клёвое, то черники завались.

Потом я пытался по фотографии из космоса представить свой маршрут. Фотографировал не я, а Гидрометеоздат, а дарил Чагыч года два назад. Впрочем, ещё чуть-чуть и я бы тоже мог фотографировать. Правда, не знаю, как насчет издания и тиража там, в открытом ледяном космосе. Это я шучу так, надо смеяться, хахаха. Нет, я теперь лукавлю для красного словца, главное ощущение было вот это. Какие же милые эти урки, какое же милое всё на свете, вот вернусь и заживем так, что аж дым со сраки, как говорит Петя Богдан. Это начинался катарсис, просветление. Так что, видите, не только художественное произведение иерархично, божественно и работа, но и лесное приключение, но и бред эпилептика. Когда наконец вернулся на то же место, с которого все это и началось, на Большое Лебяжье озеро. На фотографии-карте было видно, что я крутился на одном квадратном километре. Дальше было обыденное, по тропе километра два до большой дороги и по большой дороге шесть километров до поселка. В сапогах по колено воды, это называется побережья, чтобы ноги были сухие, тело колотит как в проруби. А вокруг закатное солнце неистовствует любовью, всё тепло, все забота. И твоя внутренняя работа, ещё шаг, ещё шаг, ещё шаг. Хорошо, только быстрее, а то простудишь лимфы, они распухнут, как в прошлом году, из них два месяца будет вытекать гной. И не сможешь остаться на Соловках на зиму поработать пустобрехом-кабыздохом, как теперь.

КАК Я ЧУТЬ НЕ СТАЛ СИЛЬНЫМ, ПРОСТЫМ И СПОКОЙНЫМ, НО КРОВЬ НЕ ВЗЯЛИ

Вчера я стоял в очереди на станции переливания крови, когда мне сказали, что у меня не возьмут кровь, потому что я не местный. Я обрадовался, обрадовался животно, а ещё понял, что тело наш бог, а ещё я убедился воочию сколько людей лучше меня. Тело боится высокого порога смерти и

всё. И всего, что с этим связано, без рассуждения, это рефлекс. Рассуждение, созерцание, улучшение наступают потом, когда не страшно. Я буквально вспомнил себя, детство, юность, главное ощущение, впечатление себя в мире. И понял, что главное сейчас ломать себя. Это совсем не философский вывод, это, скорее, позднее мужество. Тогда увидишь, что всё спокойно, и зона, и община, и малодушие, и мужество, и подставляться, и подставлять. Просто немного побледнел, как сказал сын женщины, для которой я хотел сдать кровь, соседки мамы по палате, у которой опухоль на матке и её сегодня будут оперировать, а полгода назад была опухоль в толстой кишке. Надо было, чтобы сдали десять человек по четыреста грамм, ей нужно было перелить четыре литра крови.

Просто я холодный, ах, как я узнал себя за это лето. Только ради этого стоило ехать на Соловки и в Мелитополь. Я слабый, кокетливый и припадочный, не тёплый и не горячий, скорей, играющий горячего. Будь моя воля, я бы так и остался звездой, а не прыгал сюда в этот сплошной животный страх смерти. А ещё я понял, насколько я дальше после папы и мамы. Что мама моя капризный, брезгливый и нетерпимый человек. Я так говорю не потому, что устал за ней ухаживать, а потому, что внутри себя она другая, она как в тумане, как в дыме или в воде, опустошённая. За этим стоит тысяча лет терпения и сто лет строительства царства Божия на земле народа, который последний был призван, пока ещё шла речь о народе. Кто бы потащил на себе всё это нагромождение истории, которое можно назвать очень сложно: цивилизация, культура, империя. А можно очень просто: подстава. И здесь я опять вернулся на свой круг. Те парни, которые стояли в очереди, они лучше меня, как ни глупо это звучит. Потому что всё спокойно, не слабо, не кокетливо и не припадочно. Я так говорю не потому, что презираю себя. Конечно, я не люблю себя, но от себя нельзя отказаться. Я это не художественный экзерсис. Я это страх смерти. Потому что, чем неистовее прыжки от неё в стороны, тем отчаяннее погоня.

Марина или Двухжильновна, как я литературно скокетничал, лучше меня, потому что спокойнее. Это значит, что страх смерти, вернее, его преодоление ей достались в наследство от папы с мамой, а не как у меня, в моём колене его ломать или затусовывать. Но этого я уже не могу, раз я понял, в чём моя болезнь. Горлов или Димедролыч, Миша или Индрыч, Оля Сербова, вечно влюблённая в нового мужчину, который оказался человеком, то есть целым миром, целой бездной, какое открытие. Которого, разумеется, надо вытаскивать из собственного дерьма, не хуже сдачи крови удовольствие. Эти ребята в очереди, которые какие угодно, тусовочные, нигилистичные, не думающие, но главное, что они спокойные. Мама всегда теряет сознание, когда у неё берут кровь или что-нибудь в этом роде. Папа всю жизнь сдавал кровь, будучи медицинским работником. Мама со злости разорвала все его дипломы после смерти. У них вообще свои отношения с болью и даже со смертью, они гораздо больше клан, чем другие люди от этого. Я про врачей, медсестёр, санитарок и нянечек. Ну, может быть, только меньше военных, которые, вообще, профи по части подставиться. Я имею в виду настоящих военных, а не те толпы полууголовных, полуподъездных животных, которых подставили без их на то воли, которые назывались советской армией.

Папу я совсем не помню, какая-то тёмная история, что папа был наркоман, рассказанная мамой, когда я первый раз заболел падучей в тридцать пять лет. И мои смутные воспоминания каких-то припадков, а ещё чего-то спокойного, как у тех парней, чего я был абсолютно лишён с самого начала. С каких-то пор мне это стало дороже, чем всё остальное. С самого начала я был какой-то запуганный и обе бабушки, что русская, что болгарская, водили меня к местным знахаркам, благо, что болгарская была ею сама. Дело совсем не в перемешанной крови. У половины народонаселения тогдашней империи была ещё круче замешана кровь на противоположных верах и обычаях, которые ведь в крови. В её физическом строении и химическом состоянии белка и протеина в плазме. Мой гипотетический читатель, про белок и протеин я блефую, для меня это почти то же самое, что дымок и кофеин. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», вовремя поняв, что дело вообще не в этом, а в том, что как ни намешана кровь и как ни нашпигованы мозги всякой хренью вроде гипертрофии и амнезии, от которых по большому счёту польза понт.

Потому что главное решение вообще в стороне от так называемого знания. Что его спокойная усвояемость наступает потом, когда принято решение. Вот именно для этого отцу и нужен был наркотик, если он был, а не просто, инфаркт миокарда, как у Марининога отца. Только у него не

дойдя несколько шагов до подъезда, после службы заехал на новоселье к другу, а у моего во сне. Чтобы всё время подставляться, по крайней мере, как я это понимаю через себя. Что мне, слабому, кокетливому и припадочному, чтобы не возненавидеть себя, а следовательно, не презирать весь мир, всю жизнь, всех людей, включая Бога, нужно всё время быть в припадке. Так я выберусь, потому что ни слабость, ни кокетливость не подходят, когда ты прячешься от себя, Бога и своего страха смерти за собственную тень или играешь сильного. Для этого я придумал вместо иглы писание, литературу. Такое разбирание обстоятельств и событий жизни, когда ты всё время видишь Бога, а следовательно, знаешь как надо. А дальше скорей надо сделать как надо, припадочной энергии на это хватит даже у слабого меня.

Приблизительно такие мысли или около того колотились в моей голове, когда я стоял в очереди среди спокойных юношей на сдачу донорской крови. Всё как всегда было страшно обыденно. И качок непосредственно за мной тихо матерился, что сестра слишком много болтает и слишком медленно отпускает. Разговоры про льготы, горячий чай, вино в кафе «Смак» и семнадцать гривен в этой местности просто смешны в наше время. Просто, кажется, никогда я не был так близко. Не от истины, нет. К чёрту эти рыбы плаванья в водах истины, после которых рождаются только научные данные, как аборт после подростковой любви. Никогда я не был так близко от правдивого рассказа, как я переставал быть слабым, кокетливым и припадочным, который я пишу полжизни. Но кровь не взяли, у неместных кровь не берут. И я сразу стал слабым, кокетливым и припадочным, каким не был с тех пор, как дрался с подростками на Монастырском причале на Соловках, что они сказали, «не ссыте», на моих жену и дочь. На себя бы я снёс, просто бы втянул голову в плечи и сделал вид, что задумался или не слышал.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУДО

Еще я хотел рассказать про местного юродивого Володьку Деминского. История юродства та же, что генезис эпилептиков у Достоевского. Сначала это почти Христос князь Мышкин, в конце это Иуда Смердяков. То же в Мелитополе. Он поет «Моя Украина» и кричит, что ненавидит русских. Рычит по-звериному, мочится в подъезде, а все молчат и терпят. То ли не хотят связываться, то ли он очень хитрый, как Смердяков, перехитривший себя, здесь та же болезнь. Произвольно переключаемая с фашистского бреда на обыденный монолог речь и отчаяние запутавшегося в себе человека, и где-то в перспективе петля. Страшный мамин подъезд, косящие под безумных пьющие мужчины и тихо сумасшедшие скопческие женщины. Неудивительно, что мое любимое место в городе больница, за месяц почти что жизни в ней вчера впервые я услышал слова настоящего жлобства. «Я за тобой ходила три недели, теперь его очередь». Слова старшей дочери своей матери на своего брата. Потом оказалось, что как всегда за этим стоит человеческое несчастье. Что они от разных отцов и она старше него на восемнадцать лет. Что он женился на евреечке и уехал в Израиль. Живут зажиточно, два дома - там и здесь, две машины - там и здесь, и так далее. А у нее жизнь не сложилась. Это она рассказывала всю ночь, в палате с выключенным светом, ухаживая за матерью. А моя мама слушала и плакала, потому что было жалко, то ли её, то ли себя, потому что судьба похожая, то ли всех людей.

Всё хозяйство было на ней, дом в селе, огород, скотина. И вот она убежала в город для лучшей жизни. Вышла замуж, родила дочь, муж рано умер или бросил, я уж не помню. Дочь вышла замуж, родила больного ребенка, дальше идут разоблачительные фамилии врачей, которые изуродовали ребенка, потому что тащили щипцами за голову. Ребенок не разговаривает, не понимает, не ходит, только сидит, ест и испражняется под себя. Дочка его бросила на мать и вот уже тринадцать лет она за ним ухаживает. Разумеется, никакой личной жизни, а у дочери жизнь не сложилась и во втором браке и матери, вернее своему сыну, она не помогает. Я хотел сказать, вот видишь, и здесь оказалась своя запазуха, что, может, сволочей-то и вовсе нет, включая Гитлера и Сталина. Есть только запутавшиеся и несчастные. Что, может, поэтому Христос целует предающего его на мученическую смерть Иуду. Но мама уже рассказывала, как ей папа рассказывал про своего друга по пьянке хирурга имярек, который оперировал всегда подшофе, стряхивая пепел с сигареты во вскрытую полость. И как зашивали салфетки и перчатки в животе.

А я переводил с местного на общечеловеческий, что очень тяжело, будучи профессионалом, что водителем, что президентом, что хирургом, не скурвиться, потому что, с одной стороны, ответственность затусовывается голяком жизни, а с другой стороны, трудно жить семьдесят лет в аварийном режиме, нужна компенсация, перспектива ближайшей радости, вино, женщины, наркотики. Я манкировал еще одним своим призванием после варки борща, быть «аблакатом - купленной совестью», могущим понять, объяснить и простить любой грех и любое преступление как местный колорит. Этот разговор происходил, когда я, чтобы уговорить маму поехать пожить с нами после операции, рассказал, что женина мама, дочкина бабушка, а моя тёща травилась пятьюдесятью таблетками «Феназепам», после того как я ей рассказал, что ей все равно какой будет её внучка, женина дочка, а моё поприще. Так уж получилось, сидел, писал книжку и смотрел за ребенком, был домохозяйкой. Что ей лишь бы не быть одной. Это мы с ней так дрались за ветхозаветное бессмертие, Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. А потом после годовой самоссылки на Соловки заболел падучей. Мама лежала и плакала. И сначала ничего не могла сказать, горловая судорога, а потом рассказала про женщину, соревнующуюся с единоутробным братом, кто больше ухаживал за матерью. Главная моя работа теперь, это не выходить маму, подумал я, а не сойти с ума от такой жизни. Так что моё писание, как всегда, единственное спасение, не столько для литературного заработка, сколько для чистой совести. Как же люди могут жить в таком дерьме? Для благополучия? Для детей? Или для рассказа о том, как мы чуть не сошли с ума, но все же остались людьми? Удивительное чудо.

ИЗ ВООБРАЖАЕМОГО РАЗГОВОРА СО СТАРЫМ ЗНАКОМЫМ, С КОТОРЫМ НЕ ВИДЕЛСЯ УЖЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ

Как тебе рассказать про то, что теперь? Ну вот, пожалуй, это. Сегодня ночью было происшествие. Жильё наше, как ты сам видишь, неблагополучное. Ближайшие соседи через стену, пьющий пожилой Саша Алмазов и его сын, болеющий какой-то врождённой психической болезнью. В три часа ночи, и такое бывает довольно часто, то ли пьяные, то ли наколотые друзья младшего, Димы, с пивом и креветками, битьём окон и гнилыми разборками ломались в гости, как в последний открытый кабак, а те их не хотели. Я лежал в постели и думал, что есть только четыре варианта поведения в этой ситуации. Первый, взять кол потяжелее и выйти махаться, и уже облегчить душу, возместить ущерб, нанесённый тебе жизнью, сделавшей тебя, то ли патриархом, то ли кликушей. Но это нельзя, это слишком быстро, а ты уже достаточно зрел, чтобы знать про такие вещи, что за всё придётся отвечать ещё при этой жизни, а тем более за «слишком быстро», потому что просто подставляешь домашних под ответ за свой базар. Второй, просто вызвать наряд милиции и упечь их в обезьянник, нападение на квартиру, жильё, имущество, честь, достоинство. Но это тоже вроде нельзя, потому что запахло. Мы ведь давно живём не в государстве, а на зоне, правда, догадались об этом совсем недавно, когда государство стало внятно блюсти законы зоны, не подделываясь уже ни под какое там христианство.

Поэтому стукануть запахло, даже не будучи вором в законе, даже не будучи простым фраером, а иван иванычем, чмом, интеллигенцией, расстрелянной ещё в тридцатые годы. Третий, выйти к ублюдкам и, внятно осознавая, что на самом деле, твой страх - это твоё дерьмо, сочувствуя несчастным, запутавшимся в своих ловушках, спокойно и вяло рассказать, что в доме живут ещё три семьи. И в одной маленький ребёнок, другая отдыхает, оттачивши недельную службу, а в третьей живёт учительница, и ей завтра рано утром на работу. Ясно осознаёшь, что это единственно верное решение, а ещё, что этого не можешь. Что для этого надо быть большим, простым и спокойным, а ты всё ещё как подросток возишься с первой серией, ломать себя, подставляться для благодати. Не быть уже слабым и кокетливым, а припадочным. И поэтому заранее выберешь четвёртый выход, который вовсе не выход. И который, как всегда в жизни, побеждает, если не находятся такие люди, как мой папа и Мариин папа, умершие, кстати почти в твоём возрасте. Вплоть до месяцев у них совпадение, в тридцать восемь лет и три месяца. Только Мариин папа работал следователем по особо важным делам в областной прокуратуре, и вечно выходил из салона автобуса разбираться с пьяными нарушителями общественного порядка, и умер,

не дойдя несколько шагов до подъезда, от разрыва сердца. А мой папа, по рассказам мамы, был военным врачом, какого в армии солдаты зовут батя и который кололся, чтобы вытащить на себе воз по жизни, а умер ночью от инфаркта, заснул и не проснулся.

Лежать, терпеть и ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля и ничего выбирать уже не надо. Ты трясущимися руками с подкатившей под пах судорогой тошноты и восторга, мучительно долго надеваешь штаны, кроссовки, выбегаешь на улицу, хватаешь ледоруб, стоящий возле двери, недавно чистил дорожку. А дальше уже как Бог или чёрт на душу положит. А Мария звонит в милицию, вызывает наряд, а сосед Базиль Базилич с соседкой Гойей Босховной объясняют рвущимся из одежды ночным любителям пива с креветками, что он больной и не надо обращать на него внимание. Неужели ночные незнакомцы достигли такой степени просветлённости, что умеют совершенно не обращать внимания, когда их со всей силы железякой килограмм в двадцать по частям тела. Или наоборот, исчерпавши набор ругательств, в Бога, в мать, в нос, в рот, вышибив пару стёкол из рамы, отправятся поискать другой ночной кабак на дому. Как говорится, всё кончается. А ты будешь лежать и думать, встать покурить, чтобы унять нервы, или выпить кофе и записать под сурдинку надиктованный речитатив. Короче, Дима, если в двух словах, второй раз я бы не хотел родиться, потому что жизнь сложилась трагично и тяжело. Я не хочу сказать, что не было счастья, оно было как некий остаток с мучительной работы, от которой очень устал.

ДИМЕДРОЛЫЧ И ФИНЛЕПСИНЫЧ

Димедролыч больше Финлепсиныча. У Димедролыча с Финлепсинычем совпадение, но Димедролыч работает вплоть. Когда случился в тридцать лет надлом в семье, он запил, закололся, засамоубивался. А потом понял, увидел, что труба обрывается ничем и никакого света в трубе нет, и это ничто навсегда, но свет в трубе всё же есть. Посоветовали поехать на остров Соловки в Белом море, оклематься, место такое, реанимация, дали рекомендательное письмо. Поехал на пару месяцев и прожил семь лет смотрителем Заяцкого острова по должности, художником по подработке, Димедролычем для людей. Подлечился подле матери и уже не просто мономаном по должности, онанистом по подработке и пустым для людей, а за душой вот это, что ничего нельзя предать. А ещё, что этого мало, надо строить, лепить себя из того пластилина, который есть под рукой. Дети вырастают, родители стареют, друзья стараются оставаться людьми, сослуживцы службу тащат. Мыслей нет, есть усталость, поэтому на картинах надо рисовать белым по белому, чёрным по чёрному, красным по красному, синим по синему, и так далее, ничего не видно.

Финлепсиныч в тридцать лет испугался. Его придавило бульжником величиной с небо. С тех пор он так и есть придавленный и корчится из-под него, то вероисповедально, то припадочно. В два часа ночи, когда прогнали из дома, что службу не тащит и что не родной, патрульная милицейская машина и церковь запертая на Ярославском шоссе. Комнатный, испугался, вымолил, чтобы пустили назад. Работал продавцом водки на оптовом рынке в Тушино, прессовщиком детских мозаик на частном заводе, сторожем Ботанического сада на Соловках. И всё время понимал, что не может житейски свою геройность жизни, всё время последнее получается. Это лучше, чем жлобство, но хуже, чем спокойно. И вот Финлепсиныч с Димедролычем теперь друг другу помогают. Финлепсиныч читает Димедролычу про Димедролыча, какие у него мысли и жизнь, а Димедролыч в это время рисует Финлепсиныча. Какой он, оказывается, настоящий, что всё смог, и семью, и работу, и страну, и хочет смочь Бога. Или это уже Финлепсиныч Димедролычу рассказывает? Правдивый рассказчик запутался. Прервёмся.

ЖЕНЩИНЫ - ГОРЫ

Мытищами правят женщины. В Мытищах я прожил десять лет своей жизни, самые позорные, страшные и серьёзные годы. Вот их портрет. Бывший «наш» гастроном, потому что переехали.

Все продавщицы к вечеру хмельные и добрые, но не настолько, чтобы раздавать продукты даром. Соседка Гойя Босховна, глядя на неё, понимаешь, что есть только две жизни, заподлицо и западло. Жить с людьми заподлицо, тютелька в тютельку, без зазора. Но разве такое возможно и потом, их так много. Единственный выход, жить с людьми западло, держать их за падлу, не чтобы подставить, а чтобы построить. А догадаться, что тем самым их подставляешь, это слишком глубоко и тонко, а жизнь груба и жестока. Продавщица в овощной лавке, красная оттого что всегда на холоде и под мухой, с косой, в очках, с лицом старообрядки.

- По чём апельсины?

- Тридцать пять и двадцать шесть.

- Какие вкуснее?

- За двадцать шесть.

Начальница Мытищинского паспортного стола, у которой ключ от дверей между белым и чёрным светом. Пусть белый свет побеждает за ней шавкой, потому что больше всего на свете боится, что его перепачкают в чёрный без документа, что он белый. Отдашь все деньги, приделаешь к спине и губам специальные шарниры, чтобы всё время изгибаться и улыбаться. Там Вера Геннадьевна, участковый хирург с выслугой лет, в которую вмещается новейшая история. Этот гной, говорит, не мой. «А чей?», говоришь и видишь, что все глядят на тебя с состраданием. Мама жены, бабушка дочки купила «Коделак», разрекламированное средство от ангины. Врач сказала, не надо, угнетает. Вчера вечером на четыре круга заходили, что угнетает самочувствие, а не кашель. Женщины-горы. Наивные и жестокие дети. Как Жека Квартин в детстве отрывал воробьёнку голову, чтобы посмотреть, что у него внутри. Да не у воробья, у Жеки.

ТРАГЕДИЯ

Очень приблизительная лайка и очень приблизительная овчарка. Раскрываю скобки, ну какая Глаша овчарка, голова кокер-спаниеля, лапы шакала, разве что масть. Миша конечно очень благородный, но вообще-то он обычная дворняжка. Перелез через забор, зачал семерых, один родился мёртвым, и попал на стол к бомжам. Как знал, что надо успеть, трагичная собачья судьба. Марина, выпустившая Глашу во двор и выбежавшая на вой, когда Глаша с Мишей были в замке, выслушала целую лекцию от соседки Гойи Босховны, что это, чтобы уже наверняка и прочие физиологические тонкости и женские секреты, а её дочь, Цветок, даже пошла надела куртку, была зима, чтобы досмотреть уже до конца, а потом Миша пропал. А когда Марина спросила у дворничихи, у которой в подъезде Миша жил, куда делся Миша, у нас от него щенки? Бабушка ответила, нет больше Миши, его съели бомжи.

Да здравствуют Соловки! Туда пришла Москва, с её искушением корыстью и шаганием новой власти по старым головам, сюда пришла провинция, с её неизбывным воровским законом и собачатиной на десерт. Если ты пойдёшь в лес за грибами, тебя там изнасилуют. Если ты купишь тушёнку на рынке, можешь не сомневаться, что она из человечины. Если вокруг тебя живут люди, то рано или поздно они тебя подставят. Ай да Валентина Афанасьевна, свет Зверобоиха, с которой мы всегда ругаемся, даже если не виделись шесть лет и у неё рак, и одну операцию уже сделали, установили калоприёмник, а вторую по удалению опухоли через две недели, когда организм хоть немного окрепнет и восстановится. И вот в такую святую минуту друг друга шпыняют мать и сын. Почему? Ответ простой, потому что русские. Так шпыняли друг друга бабушка и дядя Толя, ненавидели друг друга и жили вместе, не потому что жить было негде, а потому что дядя Толя был старший сын у бабушки, любимый и не бросил её до конца. А то что дрались, так какие же сантименты после тысячелетней истории государства, видевшего всё, от людоедства до святости, от хождения по воде до отцеубийства и столетней советской власти с её концом света через две пятилетки. Так шпыняем друг друга мы с дочкой Ванечкой, ненавидим и любим. Только я уже знаю про вторую половину, она ещё нет. Итак, сосредоточимся.

Очень приблизительная лайка и очень приблизительная овчарка могут дать в итоге помесь овчарки с лайкой. Так мы становимся звеном в татарской цепи обмана. Сначала Марина покупает на Птичьём рынке, якобы, овчарку Глашу для меня, сторожа на Соловках, потом, чтобы не губить

щенков, они становятся щенками овчарки и лайки. И это великолепно сходит с рук, потому что март, ранняя весна и солнце долбит так, что чудится чудо сверхурочно, и дети кричат, смотрите какие щенки. Так мы становимся звеном в татарской цепи обмана или селекционерами новой породы, которую можно назвать так. Когда умирает трагичный хор, трагичным становится дворняга Миша, комичным становится дворняга Глаша, а их дети помесью овчарки и лайки.

Или по сокращёнке, чтобы что-то бегало под ногами, за кем нужно ухаживать, кормить, подтирать, выгуливать и думать мысли в посадке напротив. Понты и породы здесь не при чём, редкий шанс, за который ухватиться рублём 200-300 отдать, рука не дрогнет. Так что трагический катарсис отстёгиваем и без древней трагедии и христианского искусства. Ведь жизнь-то ещё есть, раз есть люди, деньги и собаки. Вот так и я, теперь Финлепсич, раньше Веня Атикин, раньше Никита Янев, раньше Генка. Сначала утро пишу, потом сутки сплю, это страшнее гжелки и героина получается у меня, потому что такая бездна небытия вместе с каплей смысла, надыбанной мной, обрушивается на жизнь через меня, что я 18 лет из этого выбирался, написал три жалких книжки, не нужных никому и всё никак не мог понять, что же мне делать, службу тащить, или халтурить, или подставляться?

ГРАЖДАНСТВО

Воротишься на родину, ну что ж,
Гляди вокруг.
Бродский

1.

Мама живет после смерти, это догадка того, что происходит в чужом родном южном городе Мелитополе и не только. Что если бы не современная медицина и не выдающийся местный хирург Валентин Афанасьевич Трубецкой, от непроходимости, злокачественной опухоли на прямой кишке и своего абсолютного одиночества не было бы спасения. А так ей подарено несколько времени, может быть, десять и двадцать лет, если не будет метастазов. У мамы отрезан кусок прямой кишки и выведен через разрез в диафрагме наружу. Мама собирает бутылки в парке, не потому что ей не хватает денег, а потому что Гоголь ничего не понял про Плюшкина. Там ведь дело не в скряжничестве, а в своей воле. Чтобы всякая вещь в моем царстве была на уготованном ей райском месте. А главное, что ты еще живешь, и много досадных неприятностей, начиная с местной администрации, того, что денег за воду берут по семнадцать гривен в месяц, горячую и холодную, а бывает раз в сутки холодная. Или, например, залезла в горячую ванну и потеряла сознание, очнулась на полу голая в луже крови из рассеченной брови, но ехать к сыну не согласна, потому что привыкла жить одна и потому что стали выплачивать по пятьдесят гривен из компенсации сбережений, а главное вот это, что мама уже в раю или в предрайнике как предбаннике с её жизнью после смерти, из-за достижений современной медицины и хирурга-профессионала Валентина Афанасьевича Трубецкого. Что я понимаю только отчасти из-за нелепости своей жизни, а мог бы вообще ничего не заметить.

Как я переезжал новую границу между Россией и Украиной и сынок-таможенник кричал на меня, что высадит, оштрафует, посадит, из-за неисправных документов, а на самом деле, наверное, хотел денег. А я вдруг потерял зрение, так сказало волнение, что-то вроде неполной потери сознания. В конце концов они от меня отстали или решили не связываться с наркоманом. А я стоял в тамбуре, трогал руками окружающие меня металлические предметы, прислоняясь головой к холодному стеклу, ловил отходняк, ко мне постепенно возвращалось зрение. А на следующий день мы с мамой пошли на рынок и на рынке встретили тетю Раю, жену Коли Златева, папиного друга и родственника, местного начальника. И говорили, как он в конце жизни отчаялся, из-за сына, который на игле, и про папу, который тоже кололся, и про сына директора медучилища, к которой мама ходила, чтобы выяснить, чем же папа болел, потому что первым делом он ее повел к ней, когда познакомились.

Я подумал, вот основная догадка, что все мы живем после смерти, не только мама. Я с моим врожденным чмошеством, современные подростки с их искушениями. Что дело тут не в жлобстве и святости, а в новом пространстве и времени или психофизической энергии, когда ты то теряешь зрение, то оно к тебе возвращается. Как говорила тетя Рая, все проколол, машину, квартиру, обстановку. Она работает на рынке в палатке, каждый день приходит за деньгами на колеса, и вылечить уже нельзя. Как мама носится по чужому родному южному городу Мелитополлю, купить дешевых яиц, сварить сыр, пробежаться в парке, собрать сиреневый цвет, березовые почки, молодые листья грецкого ореха и каштана, заодно бутылки. Получить субсидию по инвалидности, проверить очередь на компенсацию сбережений в местном банке, девятьсот пятьдесят пятая, сходить на собрание акционеров, вымыть голову сушеной крапивой, сварить тушенку из индейки, перестелить тряпочки вокруг калоприемника на животе. Все время хочется есть, в ней энергии на двенадцатерых таких как я. И я, который помирает лет уже двадцать пять, с тех пор как умер отец, и всё никак не помру. Хочется всем дать денег, тете Рае на наркотики сыну, Валентину Афанасьевичу Трубецкому на новую машину, сынку таможеннику, чтобы не обижался, на несчастные сто долларов, выданные мне Мариной на поездку.

2.

Козилина, Козилина, Козилина, - огромная еврейка со второго этажа целый день зовет свою кошку. А вчера из церкви внизу, старый город расположен в котловине, я решил подняться по Луначарского на Кирова, и единственный проулок оказался тупиковым. На меня набросились злющие моськи со всех дворов и выглядывали местные, как у Кафки, что этот тут делает. А с заброшенных городских тупиков донеслось приветствие «хайль, Гитлер», и в ответ «хайль, хайль». Мне кажется, мы живем в абсурдном пространстве. Пришлось возвращаться. Было очень страшно, причем, в основном, себя. После происшествия с таможенником болезненный, унижительный страх людей. Действительно, так было с самого начала, школа, армия, Москва были только подтверждением. Борьбаться с этим можно было двумя способами. Избегать несчастья, неблагополучия, помогать семье, родителям, служить, выслуживаться. Другой, заболеть еще больше. Как с этой эпилепсией. Я ведь ясно вижу, из-за чего она. Сначала папа, наследственное, потом «нэ трэба», редакторская халтура, потом нечистая совесть. Вот три слагаемых успеха, того, как абсурдное земное советское пространство превращается в припадочное время, в котором все вперемешку, жизнь, смерть, жизнь после смерти, власть, уголовники, наркоманы, алкоголики, писатели, инвалиды, показуха, запазуха.

3.

Хочется плакать, не хочется делать, стирать, мыть, прибираться, застыть в плаче, так десять и двадцать лет. Мне не нужно от дочери рисунка к новой книге, то ли учебник «Чмо», то ли роман «Гражданство», то ли сборник рассказов «Одинокие». У меня есть фотография, я лет в пять с папой в роскошном южном парке в чужом родном городе Мелитополе. В который я теперь, когда приезжаю, то стараюсь не разговаривать, потому что что-то вроде подпольного писателя. А для писателя, тем более подпольного, язык - первая реальность. Короче, языковой барьер. Прожив десять и двадцать лет в Москве и Московской области и на Севере, я акаю и чёкаю, а местные придыхают и шокают, для одинокого человека это как разоблачение. Тем более, если перед этим его сажали в тюрьму таможенники, чтобы дал десять долларов, за то, что нет вкладыша «гражданство». Потому что в Мытищинском паспортном столе сначала инспектор по гражданству заболела, потом ушла в декрет, потом наняли новую, но она пришлась не ко двору. И вот она уволилась, а перед этим долго болела, потом долго никого не было, потом пришла новая, изо всего штата самая молодая и неизношенная, еще немного похожая на человека, а не на чиновника в юбке, аппарат по вымоганию денег у населения.

Но вот беда, она сначала заболела, а потом ушла в декретный. В общей сложности я года два уже

хожу в паспортный стол, как на работу. Забавно видеть, как молодые люди из Мерседесов на минуту заходят, чтобы получить свои документы и кивнуть, пока ты пишешь списки и строишь кордоны с бабушками. Еще забавнее уже терять сознание на этих полулиповых границах между многочисленными государствами на месте бывшей империи, когда точно такие приспособления по вымоганию денег у населения, только в штанах, сажают тебя в тюрьму, за то, что у тебя нет вкладыша «гражданство». Потом, когда ты приходишь в сознание, тебя посещает что-то вроде нового зрения, и ты понимаешь, одно из двух. Или ты эти десять и двадцать лет был неполноценным гражданином и тебе нечего достать из штанин, ни денег, ни бумажек о полноценности, гражданской и человеческой, со штампами. Или полная начальница Мытищинского паспортного стола вместе с вкладышем «гражданство» не мытьем, так катаньем, в конце концов тебе вручит новое зрение. Когда таможенники уходят, махнув рукой, не связываться же с наркоманом, а ты стоишь и ничего не видишь, потому что от мамы по наследству у тебя слабые нервы и крепкое сердце и так десять и двадцать минут. Потом потихоньку к тебе возвращается зрение. Сначала это маленькая проталина в тамбуре поезда «Москва - Симферополь», потом проталина движется и растет, пригибая под себя берега, как в начале навигации на Белом море.

А еще потом, но недолгое время, но в то же время известно, что надо делать, чтобы оно было более долгим, ты видишь всякий пейзаж, натюрморт, интерьер, портрет, женщину, ребенка, мужчину вместе со всей их жизнью. Запаухой и показухой, как я называл это раньше, философски и аналитично, прозанимавшись шесть лет самообразованием, пока жена службу тащила, её мама подставлялась, моя мама деньги присылала, а моя дочка смотрела. И видела она примерно то же самое, что я теперь с этим моим новым зрением. То, что было названо беспределом девяностых, которые похлеще войны, как сказал один мой знакомый. И цену. Видела ли она цену? Я-то её вижу. Эти столбы, уходящие в небо и в землю. По-моему, это один столб. Внутри него стоит человек, размахивает руками, хочет денег, выпивки, славы, наслаждения, впечатления, чтобы оставили в покое. А столбы эти что-то вроде шевелятся. Я не знаю, как это описать, попробую использовать метафору. Вот, мой друг Димедролыч, который поет про перистальтику и усталость, или моя мама, которая боится открывать двери в чужом родном городе Мелитополе с калоприемником на животе, или чиновники, похожие на мутантов в мундирах или мудаков на зоне.

Что у всех у них есть за душой такое, и тут я возвращаюсь к тому, с чего начал. Что хочется пойти и стучаться головой о стену, и плакать, и биться в припадке эпилепсии, испражняться под себя с пеной изо рта, с закушенным языком, закаченными глазами и сучащими в припадке конечностями. Как к нам из-под земли или с неба прилетает вкладыш гражданство с гербовым тиснением и водяными знаками подлинности. Что мы на самом деле с самого начала в раю и в аду. Что когда мы родились, это мы на самом деле умерли. Что до этого мы были Бог, а потом Бог нам сказал, идите, посмотрите. И сначала мы ничего не видели, а потом мы все доставали из штанин и юбок дензнаки, документы и прочие свидетельства полноценности, например, свои воплощенные мечты, будь то блядство или братство. А потом в поезде «Москва - Симферополь», или в постели возле обнаженной женщины, или в лесу возле распускающегося дерева, или в воде возле плывущей рыбы, или в могиле, глядя на тень летящей по небу птицы, увидели, что это было что-то вроде работы, что это наслаждение уже нельзя было взять себе. Что, оказывается, Богу надо было, чтобы его увидели, помолились, что ли. Что для этого мы сюда и посылались. Что это и было настоящее, драгоценное гражданство, которое не достать из штанины.

Есть разница между государствами, новыми и старыми. Это как русское «авось» или «всё-ничего», которое толкуй как хочешь. Или, например, таким выражением, «его как херакнуло». И украинское «з'яв - не з'яв, та понадкусую». Русские таможенники, которые ленятся даже развернуть паспорт, где-то в глубине души, они если не догадываются, то сразу знают, что все главное происходит всё равно независимо от их воли, а тогда не стоит и сучить лапками. Это цена за Турксибы и Беломорканалы и стотомники Ленина и Сталина, потому что основной удар пришелся всё же по русским. Украинские таможенники не ленятся даже катать истерики в тамбурах про «посажу в обезьянник, оштрафую на две тысячи, посажу на три года», ради весьма гипотетических десяти долларов, которые оппонент мусолит в кармане в потеющем кулаке.

РАБОТНИК БАЛДА ПОЛБИЧ

Положительные-то герои на самом деле в прозе про посёлок Соловки не по-человечески симпатичные Золушкин-электрик, Анжела-телеграфистка, Агар Агарыч, строитель карбасов и дор, потому что они просто не нарываються, и не по-интеллигентски близкие Ма-библиотекарь, Чагыч-экскурсовод, Индрыч-ремесленник, Седуксеныч-редактор, потому что они просто выживают, а работник Балда Полбич, нечёсанный, немый, мочающийся с крыльца, вечно что-то орущий, по преимуществу матом. Зато из его поступков вырастает некоторая способность подставляться. Но я за него не боюсь, что его замочат, в отличие от себя, ах, как я за себя боюсь, пожалуй, что чересчур. Потому что он блюдет иерархию, в основном службу тащит и только в оставшееся от работы и питья время дерётся с Рысым глазом и Глядящим со стороны, что они за детьми не смотрят, не работают и воруют. И учит детей не ругаться матом, потому что маленькие ещё ругаться, а то губы на бантик завяжет.

ВОТ КАКОЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ И ПОУЧИТЕЛЬНОЕ У МЕНЯ ОКОШКО В ПОСЁЛКЕ СОЛОВЕЦКИЙ

В окне типично отечественная картина. Один делает мопед чужой, трое взрослых и двое детей смотрят. Он бегаёт и газует, остальные кричат и смеются. Как вы, мои созерцательные, но немые гипотетические телезрители, могли догадаться сами, тот, кто газует, конечно, Работник Балда Полбич. Я ещё к нему сегодня собирался за дровами, теперь не пойду, скажет, достали, что я благотворительная служба, что ли? И обматерит матом, и я умру от разрыва сердца прямо на улице, а потом встану и под унижительное улюлюканье черни пойду к Валокардинычам за дровами. А они скажут, что ещё надо? Мы же за две недели четыре охапки дали. И тогда я пойду и напишу на всех на них докладную записку загробному особисту. Мол, так и так, Христос Саваофович, уважаемый, отомстите за меня, пожалуйста. Сделайте их неблагополучными, чтобы они снова стали хорошими, отзывчивыми и тонкими. Вы пустили им благополучие, а они стали корыстными и томными. И тогда я увижу как по бокам станут два стражника невидимых с копьями долгими язвящими и отведут меня в камеру одиночную, которая одновременно мой дом, в божественной драме такое бывает. Мол, не стучи на ближнего даже верховному иерарху, он и сам всё видит, а починай прореху, как Полбич. Только починил мопед, а его уже Богемыч требуют с трактором. Вот какое занимательное и поучительное у меня окошко в посёлке Соловецкий.

СОЛОВКИ

Чем еще Соловки были дороги? Это словно взяли одну мою черту, жалость к себе, припадочность и сделали из неё Седуксеныча. Потом взяли другую мою черту, ныкаться в нычку от всего света и там быть Господом Богом Саваофом для своей работы и сделали из неё Индрыча. Потом взяли другую мою черту, войну с призраками, что весь свет нечист и сделали из неё Ма. Потом взяли другую мою черту, что мир надо всегда переставивать, пусть на последней припадочной энергии и сделали из неё Димедролыча. Потом взяли другую мою черту, что всё ещё можно поправить, устроить, нужно положиться на какую-нибудь банальность, всё равно какую, например, что президент верующий, и терпеть, и сделали из неё Чагыча.

НЕ СТРАШНО

Тебе страшно? Мне нет.

Карлсон

Рисованные иконы светятся, уворованные велосипеды сами возвращаются к своим хозяевам. В записных книжках с изображением гуслира со свадебного браслета 12-13 века на берестяной обложке сами собой появляются записи. Тела излучают такое тепло, что жарко под простыней с клубниками, величиной с кулак человеческий. Квартиры сами собой отдаются внаем писателям и грузчикам по совместительству. В мегаполисах пятьдесят градусов жары и люди лежат в теньке вповалку. Директора бросают свои кормушки, потому что у них ничего не получается с этим населением. Маститые ветеринары усыпляют крыс с раком желудка, привитым им в лаборатории, и их хозяйки спрашивают, доктор, неужели ничего нельзя сделать?

Всё это происходит в стране, в которой уже начался конец света, и я это вижу так же ясно, как тебя и себя, мой несуществующий читатель, потому что все мы живём в этой стране. Селедка выпрыгивает из моря и бросается на пустые крючки на леске животом, головой, спиной, ртом. Пожилой человек тридцати семи лет выпивает пять стаканов чая и литровый ковшик воды, потому что наелся соленой селедки, а потом бегаёт и выливает ее назад при помощи мочевого пузыря и не может заснуть. А потом раскрывает записную книжку и видит написанными эти строки и думает, а я думал, что есть только две веры и две правды: весь мир кабак, все бабы бляди, и, себя ломать, подставляться для благодати. И только два направленья в искусстве: постмодернизм и неохристианство.

Когда сумасшедшая баба из Англии устраивает перфоменс, обвешивает свою антикварную кровать семнадцатого века презервативами тех, кто ее имел. А битый эпилептик из Мелитополя идёт с семьей на Муксалму, что на Соловках, и видит, как едет его велосипед, который у него украли, потому что он слишком часто его давал кому нельзя. Потом они возвращаются домой в арендуемую ими пятый год квартиру в поселке Соловецкий, и его жена перерисовывает икону Божьей Матери с младенцем Христом «Камень нерукосечной горы». Потом наступает белая ночь, и они предаются любви так что это грех и не грех одновременно. А потом он долго не может заснуть, бегаёт в туалет, потому что опился чая и видит, как грифельная икона начинает светиться, как велосипед начинает катиться в направлении его дома, потому что он не захотел идти в милицию и заявлять на новых хозяев.

Но это ещё не всё, дальше начинается самое главное. Его собака, которую он выпускает на двор по нужде, которая опять зачала не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку от мимобегущего выродка и опять предстоят хлопоты куда пристроить таких щенков, говорит ему человеческим голосом. Каждый раз, когда ты приезжаешь на Соловки на несколько месяцев или на год, ты заболеваешь болезнью. То эпилепсия, то лимфаденит, то у твоей матери рак. И вот опять лимфы на затылке справа распухли. Это значит, святое место Соловки чистит, как говорит сумасшедшая Мера Преизбыточная из города Апатиты, которая торгует деревянными иконами и камнями и всё знает про энергию и глаза.

И ты тоже сумасшедший и кое-что знаешь про свои память и совесть, по крайней мере, пытаешься про это писать рассказы, которые никто не печатает, зато читает твоя жена, которая работает учительницей в школе, смею заверить, хорошей учительницей, которая возит детей на Соловки каждое лето, к которой приходят ученики, которые закончили школу 10 лет назад. И твой друг, который прожил шесть лет на Соловках смотрителем на Заяцком острове. А теперь вернулся в Москву и работает коммерческим директором в фирме, и говорит, когда приезжает в гости по выходным, «только перистальтика и усталость». А сам хочет, чтобы его убедили в обратном. Но так убедительно, чтобы он поверил.

И ты ему читаешь свои то ли стихотворения, то ли рассказы. А он в это время тебя рисует, потому что когда остался один на острове в Белом море, который можно обойти за два часа, в 30 лет, потому что крыша уже ехала в Москве и всё могло закончиться только самоубийством, то надо было что-то делать, и он стал рисовать картины. И у него получается, а это значит, что ты делаешь всё правильно, но совесть у тебя нечиста. А ещё подруга жены, все мы учились в одной группе в институте на филфаке. И уже пожилые, и каждый год в мае в конце учебного года начинается конец света. Максим Максимыч пьёт, Мария плачет, у Бэлы истерики, у Катерины Ивановны сотрясение мозга, потому что просто упала.

Потому что ученики, которые платят, хотят «4» и «5», а им не ставят. И тогда тётки, которые

платят учителям, начинают на них давить. И Мария придумала выход, «тогда давайте всем поставим «4» и «5», раз мы такие добренькие, путёвка в жизнь и всё такое, это единственный выход». А её ученики ей рассказывают, что они платят школе в сумме 25 тысяч долларов в месяц, чтобы доплачивали учителям к их зарплатам, а им доплачивают 25 тысяч рублей, в среднем на учителя это около двух тысяч в конвертике. Причем, у каждого своя тайная сумма. Такая система, они, дети, уже всё посчитали.

И вот Катерина Ивановна читает мои рассказы и говорит, что очень страшно, Марии и просит ещё что-нибудь. А что Мария 10 лет на эти деньги кормит семью, не страшно? А что её мама, которую я никогда не называл тещей, а всегда мамой, то есть, твоя мама, но имелось в виду, просто мама, всех мама, если угодно, после того, как мы с ней поговорили про то, что я паразит, а она больше всего на свете боится одиночества, травилась 50 таблетками «Феназепам», а я заболел падучей. А теперь она мне покупает на день рождения велосипед за две с половиной тыщи, который я дарю местным ворюшкам, потому что надо подставляться.

Каждую неделю приносит продуктов на тыщу и подсовывает пятисотенную бумажку в пакете с продуктами. Вешает на крючок возле входной двери на улице, чтобы не мешать мне заниматься, потому что знает, что я пишу по утрам, а сама на больных ногах едет на перекладных маршрутках на работу, потому что соседки по палате ей рассказали, как я на ней менял мокрое белье, когда её привезла скорая помощь. Что теперь таких сыновей не бывает, вот как повезло с зятем. Не страшно? Что мама живет одна в городе Мелитополе, и собирает бутылки в роскошном южном парке, и не хочет ехать к нам в Мытищи с калоприемником на животе после вырезанного рака, потому что не хочет быть обузой. Не страшно?

Говорит, когда совсем развалюсь, тогда заберете. И откладывает деньги на внучку, как раньше на сына. Что все близлежащие предметы начинают светиться всё сильнее. Рассветное небо над Соловками, печка в бараке на Северной улице, который был построен в двадцатые годы как распределитель заключенных, а теперь мы в арендованной у жилконторы квартире пятое лето предаемся любви в месте, в котором людей забивали, чтобы другие боялись, и до сих пор едят собак. Окуни, привезенные с Вичиных озер, сушатся над печкой и светятся все сильнее. Дочкины рисунки, которые раньше были необыкновенными, а теперь у неё подростковый возраст и она не рисует, становятся почти прозрачными от изливаемого ими света.

Люди, вот эти, которые были сломаны корыстью за два года после десятилетней нищеты. Оклады в четыре и пять тысяч и сто рублей по спискам продуктами. Банка тушенки, банка сгущенки, килограмм сахара, килограмм соли, пачка «Примы», упаковка спичек, булка белого, кирпич черного. Остальное из леса, из моря, из огорода. Я в это время жил и работал на Хуторе и могу засвидетельствовать как последний герой драмы или трагедии, лучше, опущенный еще в годы последней советской власти, социализма, построенного в одной, отдельно взятой стране. Написавший книгу про то, что все мы живем на зоне и никакой государь не спасет нас от себя самих. Что мы начинаем светиться всё сильнее тоже, точно облученные, получившие дозы в тысячу крат больше, чем положено по уставу гарнизонной службы. Так что наши дети уже мутанты, а мы или мудаки, или святые.

Как Вера Верная, директор школы, которая стесняется взять деньги на ремонт школы с московских групп, которые квартируют в школе и покупают себе колбасу с сыром на четвертое. И ещё остаются казенные деньги, которые они везут назад, потому что они уже не могут изобрести куда их пристроить. И водка пята, и в преферанс играно. Чагыч, который вечно уходит от жлобства и которое его вечно догоняет. И который рассказывает Чагычихе, что надо переждать два года, пока новый директор улетит наверх, отмыв деньги и сделав себе карьеру. А монастырь передадут монахам, чтобы президента выбрали на второй срок. И тогда можно будет честно трудиться экскурсоводом. Только не ему, потому что туристы будут называться паломники, а на самом деле будут туристы. И он в этой лжи участвовать не будет.

Иафетыч, который говорит Чагычу после экскурсии по кремлю, что до администрации музея дошла информация, что на своих лекциях он позволяет себе критиковать начальство, местное и даже поднебесное. Что если это будет продолжаться, будут приняты меры. Интересно, какие, распять атеиста Чагыча, отца пятерых детей, влюбленного в своих туристов? Рысий глаз, который достал меня обворовывать, то в моих штанах ходит, то на моем велосипеде ездит. Осталось еще

сожрать мою собаку, и я вознесусь на поселковую баню как местночтимый святой непротивленец. Тамарин причал, уходящий в море на сто метров, набитый рыбаками изо всех весей с удочками с десятью крючками и ни на одном нет наживки, зато на каждом рыба, когда селедка подходит к берегу кормиться, зорко следят друг за другом, кто больше ловит. И все светятся, даже сын Глядящего Со Стороны, который проворовался, потом опять проворовался, потом скрывался по лесам месяц, то ли от милиции, то ли от папы, а брат за ним ездил на моем велосипеде, пока не заездил. А теперь ходит на Тамарин причал за селедкой.

Местный резчик по дереву, Гриша Индрыч, который строит себе дом из несуществующих бревен, потому что у него нет на них денег. Зато скоро дадут землю за 17 лет добросовестной службы на Соловках, надо только взять 18 справок, на которые тоже нет денег. Стоит и смотрит посреди поселка с аргетинской коробкой из-под фруктов на стадо овец, похожий на ветхозаветного патриарха в золотом нимбе, посреди православной твердыни исповедующий то ли буддизм, то ли мазохизм. И говорит, «божественно красивые животные». А они тянутся за овечьей вожачихой, доверчиво глядящей своими ангельски кроткими глазами в его бериевские окуляры.

«А зачем коробка»? «Дизайн удачный». Вот и поговорили. Ни в коем случае не говорить о главном, вера, смысл жизни, совесть, память. Только вокруг да около, а то повернется и уйдет, как овечья вожачиха, наскучив созерцаньем.

- Как продвигается работа?

- Пахать надо.

- Соседи достали, все время пьют.

- Как будто есть другие соседи.

- Дрова сырые.

- Ничего, до зимы подсохнут.

- Ножи лучше всего советские, из настоящей стали.

- Да где же ее взять, кругом одни Бразилия да Китай.

А зарево разгорается все сильнее, мне даже кажется, в какой-то момент структура человеческого тела становится призрачной воздуха или воды, будучи плотнее дерева или камня из-за своей смерти. Что смерть, оказывается, уже прошла, а никто не заметил. Как мама живёт после смерти в чужом родном южном городе Мелитополе, в котором я боюсь разговаривать, со своим благоприобретенным за 20 лет жизни московским распевом, чтобы не побили, спасённая врачами, если не будет метастазов.

Как люди из откровения, на тысячу лет ушедшие из истории, которые уже не люди, а то ли ангелы, то ли демоны. Как директор Наждачкин, который хотел сделать из острова образцово-показательную зону. Нагнал охранников и опричников на сто тысяч, построил мотели и евроремонты, а земля не слушается, продолжает светиться, унавожённая костями сотен тысяч. И вот уже он трагический персонаж, что-то вроде Макбета Шекспировского, хватается за голову и хочет сбежать от этой каши, рассказывает очевидец.

Не страшно? Мне иногда так становится страшно, что я на людей бросаюсь. А люди меня держат за руки и говорят, «припадочный какой-то, иди отсюда, пока не утопили». Только бумага, которая всё стерпит, как мой отец, который умер в моём возрасте от загадочной болезни, которой теперь болеет половина подростков, и которого я не пожалел для красного словца, всё пишет и пишет на себе моей ручкой из местного хозяйственного магазина про то, что это тоже пример того, что не все выдерживают это местное катастрофическое свечение и хотят спрятаться в обломки.

Мол, я писатель, резчик по дереву, коммерческий директор, с меня взятки гладки. И мой отец говорит, «ты всего лишь продолжаешь мою работу. Мне, чтобы подставляться, нужен был наркотик, тебе литература, а здешней державе Соловки. Место, в котором у тебя каждый год образуются новые неизлечимые болезни, больная совесть, припадочная память. И ты видишь не только, как едят собак и напухают лимфы, но как местное свечение становится вездесущим. Можешь попробовать его на вкус, на цвет, на беду, на счастье, хоть в Мелитополе, хоть в Мытищах, хоть в Москве, хоть во Мценске, хоть в любом другом месте.

То, что я говорил Димедролычу на Хуторе, что дело уже не в месте, и сам до конца в это не верил. А он поверил, и вот теперь он в Москве тащит службу на четырех работах, грузчик, кладовщик, менеджер, коммерческий директор, слушает Гребенщикова, пьет джин с тоником после работы и

прячет в подъезде героин на случай срыва. А в конце страшного стихотворения или рассказа я потрогал лимфу на затылке, а опухоль за эти несколько часов, что я писал, совсем спала. И теперь не страшно?

ПЕРФОМЕНС

Стояли в очереди позвонить по междугородному телефону, петрозаводские с обнажёнными торсами, вздутыми грудями, бритыми головами не шире шеи. За ними московские дамы давали телеграмму, у которых домашний адрес без квартиры, только улица и корпус. А я стоял и думал, кто страшнее? А потом придумал, что лучше я буду радоваться на двух московских, которые тоже были передо мной в очереди. Один с обнажённым торсиком и с какими-то звенящими шариками в пальцах, которые надо вертеть всё время, то ли для медитации, то ли для физкультуры. Другой в футболке, рубашке, свитере, штормовке и с поясом, на котором вышита молитва. Оборони мя, Боже, от всякой напасти. И с лицом, на котором юродивое выражение меняется на ожесточённое всякую минуту, так что некогда бояться.

Ну и смотрел же на них петрозаводский, если можно съест глазами, они должны были давно перевариться у него в животе кубиками. Звонил маме и думал, ну вот, трое юношей. Один тащится от того, что не стесняется на людях, другой, чтобы не стесняться крутит шарики, а третий обвязался молитвой. Сначала я подумал, что федеральный центр гарант стабильности на местах. Уж больно петрозаводские были быковаты, эта провинциальная болезнь - всех забодая. Когда пришли дамы, не спрося очереди, стали у окошка телефонистки и стали беседовать, что когда на них алмазное ожерелье, у них всё получается по жизни, в платочках паломниц. Я подумал, что вряд ли федеральный центр гарант стабильности на местах. Уж больно много ему надо денег, одиннадцать миллионов корпусов без квартир и алмазных ожерелий, как минимум.

Это как у наших знакомых крупорушный заводик в уездном центре. На них наехали местные бандиты, но дело в том, что у них у самих дети в джипах по Москве ездят. И вот туда на место поехала бригада, гарант стабильности на местах. Я вовсе не бахвалюсь, мне нечем бахвалиться, я десять лет безработный. Просто если не будешь рассказывать подробно как ты добрался до благодати, то никакой ты не писатель, а занимаешь чужое место. На всяких там перфоменсах и фигоменсах тусуешься, чтобы оттяпать себе гранд пожирнее. А настоящий писатель в это время пишет в трёхлитровую банку в коммерческой палатке, а по ночам описывает этот феномен. Как моча в банке замёрзла, потому что в палатке минус тридцать, а всё равно Бог есть. Потому что приходится отвечать не только за себя, но за своего папу и за тирана Сталина, потому что первородный грех. Этот перфоменс будет покруче, не правда ли, господа редактора?

2002

Часть 3. Попрощаться с Платоном Каратаевым.

ОСЕНЬ

Вот я лежу и думаю, под кодовым названием, где провести эту осень, думы мои. Потому что была возможность остаться на Соловках на осень смотрителем на Секирной горе на сентябрь, октябрь, ноябрь. А может быть, и дальше. А вы знаете, что такое на Соловках осень? Про это знает Димедролыч. Когда схлынут туристы, хорошие, нехорошие, талантливые, любознательные, порочные, пьющие, красивые, чистые, некрасивые, грубые, девушки, прекрасные как ангелы у Боттичелли и делла Франчески, мужчины с животиками, начальники, подчиненные, верующие, неверующие, туристы, паломники, экскурсоводы, эмчезники, и наступит затишье как перед концом света. И ты, как бог этого места или как боец в мертвой зоне обстрела с обоих фронтов, оглядываешься назад, а там вместо смерти зайцы водят хоровод возле твоей сторожки и в воздухе, напоенном молчанием и желтыми листьями, словно бы открывается дверка. И важно в неё не

пойти, потому что потом будет зима и снега будет столько, что провалится крыша на бараче, в котором живет Финлепсич. А Индрыч на Хуторе вместо тропинки будет рыть траншеи в снегу вместо физкультуры, потому что Индрыч любит упражнения, а нет лучшего упражнения, чем из вечности бытия у тебя на лице перебрасывать снег на лопате в вечность небытия у тебя за спиной. Когда надо было позвать соседа Седуксеныча посмотреть его выставку деревянных икон, или икон дереву, или икон дерева, как угодно, то очень волновался, потому что лет двадцать соседствуют и лет десять не дружат. Один другого зовет Солнцев, другой другого зовет Самуилыч. И вкладывают в прозвища всю бездну презрения, с которой начинается любовь в Библии. И тогда повис на перекладине, приделанной на двух квадратных метрах кухни, она же прихожая, она же библиотека, она же спальная, она же мастерская. С какими-то выдвигающимися ящиками и запердельными пространствами, подвесными балюстрадами из серебряной и золотой моребойки и непрерывными картинками. Детскими рисунками, фотографиями предков, цитатами из пленумов, отрывками из стихов знакомых поэтов. Комната - вот роман ненаписанный, который если бы мог как хотел написать, считал свое писательское поприще законченным! Есть три интерьера на Соловках, доступных только кисти художника, но никак не словесному перечислению, потому что важны пропорции, насыщенность и разряженность. Гришина мастерская, Валокардинычев гараж, Финлепсичева квартира. Вот настоящие метафоры бессмертия, или Платоновы пещеры, или логова Бера, божества древних племен славян, германцев и прочих индоарийцев, на которых когда оглянешься в бору или берёзовой роще, то испытываешь не только священный ужас смерти, но лингвистическое вдохновение. И поймёшь, что позднейший язык весь соткан из намеков на неё, эту дверку: оборотничество, оборона, обернуться, вращаться, время, вера, вор, веревка.

Впрочем, я уклонился от предмета повествования. Так вот, вскочивши, повисши, на перекладине подтянулся пару раз, в эту дверку улетело усилие, и волнения как не бывало. Но я всегда её боялся, этой минутной вспышки, в воздухе словно дверцы, которая то отворяется, то затворяется на ветру. Ведь не паломницы Лимоны я на самом деле испугался и не эмчезников с самурайскими мечами, и не того, что надо подчиниться, кланяться в пояс перед ужином из концентрированного горохового супа, поститься, петь акафист, а этот ужас, знакомый мне с детства. Как она здесь живет? Келии, которые были камерами, камеры, которые были келиями, теперь опять будут келиями, потом опять будут камерами.

Как в армии, я один раз подошел к старшине Беженару и говорю, Василий Иванович, здравствуйте! Теперь-то я понимаю, что у меня уже крыша ехала, оттого что он меня достал бесконечными нарядами и месячной гауптвахтой за то, что я с ним пререкался и качал права, будучи молодым бойцом. А старослужащие терпели, почему, до сих пор не понимаю. Тот, кто был в строевой части или на зоне, понимает, что перед обедом тянущий время обрекает себя на аутодафе. А они терпели, ничего не понимаю. Неужели, -бер-, дверка? Свирепые белорусы, кряжистые подростки, которые и разговаривать-то не умели, только водку пить, бутылки вместо стаканов. Я только удивлялся, как Вицын, понюхавши и окосевши, папино наследство. Неистовые чечены, которые, как крестonosцы, сначала ударяли по лицу или ногой в пах, а потом думали, зачем они это сделали. Таинственные таджики, которые уважали единственного из призыва, не постигаю.

Так вот, я уклонился (где провести осень). Или в городе Мелитополе, в котором уже нет времени, он уже в раю, мама моя так захотела. Где таинственная дверка разрослась до пределов городских окраин, от кладбища на лесопарке до Белякова на песчаной. Сначала она была - взгляд десятилетнего мальчика во дворе школы № 10 на проходящего мимо ворот прапорщика, что это папа, который недавно умер. Потом, через десять лет это уже целый парк, в котором после работы мы говорили с Олей Сербовой про то, что бывает в жизни то, что не бывает. Причем, она в основном имела в виду любовь, как всякая женщина и человек, ищущий в жизни счастья. Я говорил о чуде, как непосвященный, что можно его построить из каких-то косноязычных осколков, вроде кокетства и смазливости, но все ещё было впереди. Потом это была городская больница, отделение хирургии, онкологическая палата. Больница на краю парка или парк на краю больницы, как смерть на краю жизни или жизнь на краю смерти, в зависимости от того, насколько вы любите осень.

Осень в Мелитополе это тоже не страшно, а я думал, что страшно. Только очень тоскливо, стыдно и одиноко. С мамой на кладбище к папе, на рынок и в парк. Город как заворожённый смотрит и

отчуждается с каждым днем всё сильнее. Книги, строчки и курево. И почти что теряя сознание. «Поехали, мама, со мною, я больше здесь не могу».

Вот и получается, что то, что остается, - это то, что имеем. Зарешеченное окно на улице Каргина в пригороде Мытищи в одноэтажном доме, который скоро снесут, последний в старом городе, сгоревшая за лето листва, воздух пепельного цвета. Марина говорит, что это теперь наука, что каждый год на полградуса жарче. «То, что ты говорил про глобальное потепление, про конец света, про запазуху русского севера, который теперь юг, место курорта и отдыха». Я киваю понимающе головой супруге, с ностальгической улыбкой, а сам в это время как Штирлиц, знаменитый советский разведчик Исаев, который заведовал третьим рейхом мимо Гитлера и Сталина, слезу краем глаза за своей судьбой.

Потому что только в Мытищах, на этой новой родине на окраине мегаполиса в начале апокалипсиса, будучи то ли мудаком, то ли мутантом, понимаю, что, когда я был зрителем на хуторе Горка на Соловках и там поливал себя горячей водой из ведерка, обнажившись, потому что надо было мыться хотя бы раз в месяц, а в окна без штор, как положено по уставу гарнизонной службы для сторожа, который охраняет, заглядывали призраки, архимандриты, зэки, начальники лагерей, самоубийцы, шестидесятники. А я драил себя мочалкой и знал, что в последний момент за два дня до припадка я всё равно уеду в Мытищи, проснусь и буду помнить только что такое «я» и «ты», остальное мне расскажет Марина, а я всё запишу. Про Аню, которая рисует (дочка), а потом бросит рисовать и займётся конным спортом, это она тоже расскажет. Про бабушку Женю, с которой мы десять лет бились самурайскими мечами, кто кого круче подставит, сделали себе харакири и оказались родственниками, как все люди на земле. Про меня, что я на острове пишу книжку «Чмо», как тридцать тысяч сброшенных с горы Секирная и три миллиона мучеников на острове Соловки сняли шапки-соловчанки и говорят просительно, «Напиши, напиши, пожалуйста, как камень, отвергнутый при строительстве стал во главе угла. А мы в ответку попросим Спасителя, для нас у него блат, чтобы он дал тебе мужество отвечать за свой базар».

Про себя, как десять и двадцать лет открывала вместо мужа коробочку и там смотрела всякие мультфильмы про метафизические приключения на листочках с чудовищными ошибками: тростник, вподряд, принципиальное отсутствие синтаксиса. А всё остальное делала сама. Учила подростков думать мысли в школе, растягивала деньги, которых не хватит на неделю, на месяц, рожала, делала аборты, любила мужчину, оправдывалась перед мамой, почему муж не работает, потому что редактора халтурят, а работу эту бросать нельзя. Верила, изверивалась, понимала, не понимала, шила одежду себе, мужу и дочке, находила новые места, в которых время уже остановилось, как осенью в любом месте бывает такая пора, даже где не видно небо за панельными многоэтажками и не видно земли за асфальтом и автомобильным смогом. Ты просыпаешься и понимаешь, откуда это недовольство собой. Что не в Швейцарские Альпы с семнадцатилетними сослуживицами, не в сёрфинг-клуб, не в боулинг, не на рыбалку, а в эту раскрытую дверку, полупрозрачную в воздухе непрозрачном от глобального потепления, скоро надо будет уходить, а готов ли ты к этому? Ведь ни молчание самоубийцы, ни бунт запойного не помогут тебе там, потом не стать в очередь к какому-нибудь чму зачмленному, живущему неживущему. Кто последний несчастный мученик к тому, кто отпоет?

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На день рождения Финлепсичу подарили русский спиннинг из нержавейки, недорого - 300, катушку, простую, большую - 250, бронзовую фигурку духов сна из африканской мифологии, вытянутую по вертикали насколько это допустимо стихийным чувством меры, ещё не история, уже не природа, или наоборот, уже не история, ещё не природа. Вот насколько глубоко в толщу населения продвинулись демократические реформы, что в местном торговом центре продают на грани безвкусицы столь утонченного вкуса изделия и Данте в переводе дореволюционного переводчика, потому что победоносный, по словам Ахматовой, перевод Лозинского читать невозможно. А надо, потому что как ещё узнать, что русский извод ада, чистилища и рая, Мертвых душ, Преступления и наказания, Войны и мира - вовсе не единственный и не первый на

свете. Что раньше была Божественная комедия Данте и что мы не пуп земли в этом смысле, так же, как и во всех других, как мы каждый раз себе воображаем, когда становимся подростками в новом поколении.

А также надувную резиновую лодку «Ветерок», вариант велосипеда «Аист», чтобы Финлепсиныч мог на озере Светлом Орлове на острове Соловки в Белом море отплывать от берега на десять метров и охотиться на местных драконов, наевшихся евангельской соли из расстрелянных за два поколения до этого, в воде цвета глауберовой соли.

Какого тебе еще надо кайфа, Финлепсиныч? Заслужил ли ты такого? Ты, юродивый кликуша без имени, на могиле отца и матери вглядывающийся бессмысленно в большое количество одноразовых шприцов, раскиданных вокруг памятника погибшим лётчикам и боящегося себя до судорог. А еще радующегося что крест и венки на маминой могиле не тронули. А на ветвях деревьев: яблони, шелковицы, акации, березы, грецкого ореха, тополя, черешни, сосны, ивы, можжевельника - сидят ангелы в виде птицы зяблика, щегла, синицы, чижа, поползня, снегиря, свистеля, клеста, стрижа, ласточки, горлицы, вороны, сороки, копчика и говорят: цыти-цыти. Что в переводе с древнекитайского означает: у тебя ещё есть несколько времени, прежде чем тебя заберут папа с мамой в своё ветхозаветное бессмертие, придумать иероглиф и метафору для твоего новозаветного бессмертия и наклепать дочку Ванечку, если она откажется отдать свои сбережения на один из трёх подарков от женщин-парок: жены, тёщи и дочери - твоему двойнику Финлепсинычу на день рождения. Потому что так получается, что только жертва останется на раскаленной звезде на свернувшейся в свиток вселенной писать птичьим почерком: чистосердечное раскаянье упраздняет вашу вину. Не птицами и не ангелами, не поюсторонностью и не потусторонностью, а какими-то глазами Господа и губами, шепчущими молитву из вздохов. Самая чистая слеза рядом с этими глазами - сложная солёная вина, и самое яростное сострадание рядом с этими губами - просто зависть.

ИНДЕЙЦЫ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ, МУТАНТЫ И ПОСЛЕКОНЦАСВЕТЦЫ

На острове Соловки живут индейцы, в пригороде Мытищи инопланетяне, в мегаполисе Москва мутанты, в мисте Мелитополь послеконцасветцы. Зачем же я оттуда уехал? В двадцать лет после армии три дня побыл и поехал в Москву учиться и больше не вернулся.

Агар Агарыч с лицом пожилого индейца и раздвоившейся сущностью, из которой одна терпит другую, а когда не вытерпливает, то раскодируется и кушает «Соловецкую», пока пульс не становится прерывистым.

Гриша Индрыч Самуилыч, увешанный своими издельями, как индеец, шаман племени. Потом дом, потом приходящие в дом, потом приходящие к приходящим в дом, потом их разговоры и враги, и где-то надо поставить точку.

Чагыч, вождь племени с лицом пожилой ирокезки и волосами, которые он сам себе состригает, ибо никто не смеет притронуться к вождю. Говорит, когда местный дух корысти улетит в Кремль на президентское кресло, то прилетит дух фарисейства и неизвестно, какой из них легче многострадальному племени индейцев, задыхающемуся под игом дракона, наших юношей и наших девушек ему мало, подавай ему ещё нашу душу. Одна надежда на воплощенное слово и на камень веры, но об этом тихо, никому ни слова.

Наш сосед Базиль Базилич на улице Каргина в Старых Мытищах в последнем одноэтажном неблагополучном доме на самом деле инопланетянин. Никогда не плачет, не смеется, не улыбается и не ругается матом. Приезжает с одной работы и уезжает на другую, видно летающую тарелку где-то в лесу чинит. Когда жарко, снимет шапку, когда холодно, наденет шапку.

Его жена, Гойя Босховна, полная его противоположность, женский пахан, одна из трёх местных тайновидиц: Там Вера Геннадьевна, хирург в местной больнице, начальница мытищинского паспортного стола, переодетый Черчилль и Гойя Босховна, женщины-горы, все инопланетяне.

Инопланетяне бывают двух видов: которые держат мир за падлу, они ещё все время говорят «западло» между собою, это у них вместо пароля и всякие другие слова, про которые моя дочка Майка Пупкова сказала, чё они не на русском? Ничего не понятно. Ничего, потом поймешь, дочка,

ответил я и подивился двусмысленности фразы.

И которые живут с миром заподлицо, тютелька в тютельку, термин в токарном, слесарном и прочем ремесленном деле. Эти мастеровые, у них с паханами все время идёт состязанье, кто кого передолбит, кто из них главный.

На работе в московской фирме я подрабатывал грузчиком два года на развозке фототоваров по магазинам «Кодак».

Леди Макбет Мценского уезда, Госпожа Бовари, Будда, Шива, Рама, Димедролыч, Героиничиха, сотрудники фирмы - мутанты. И даже я, Финлепсиныч Послеконцасветыч Генка, а раньше Никита Янев Веня Атикин Гамлет, пришлось сменить позывные из-за перемены смысла работы, сразу становился мутантом, когда заходил на фирму, когда выходил с фирмы, переставал быть мутантом. Это удивительный феномен. Вы говорите два слова, а третье сказать не можете, не потому что некогда, а потому что не положено. Мужское, женское, а человеческое уже нельзя, не положено. И это понятно, может, у кого-то этого человеческого будут горы и все будут, как нашедшие клад, перебирать бериллы, а когда же делать работу? Человеческое после работы. Говорят, виноваты начальники, виноваты надсмотрщики.

В этом году я три раза ездил к маме в чужой родной южный город Мелитополь. Сначала ее проведать, потом похоронить, потом на поминки. И сошелся с соседками по подъезду. Одна не берёт деньги за оплату маминого телефона, чтобы не отключили. Другая говорит, квартиру только тебе берегла мама, не отдавай деньги жене. Третья говорит, купи шубу и шапку, а то смотреть на тебя было страшно возле могилы. Четвертая говорит, приезжай с женой, она у тебя молодец, похожа на артистку из мексиканского телесериала, а то большие деньги, здесь за две гривны убивают. Пятая говорит, щас нет времени, в школе конец года, а как станет посвободней, я поеду узнаю на вокзале, сколько они берут, проводники, и буду тебе передавать с поездами мамины вещи, чтобы не пропали: закатки (овощные консервы), ковры, пледы, книги, белье, посуда, одежда. Я говорю, не надо. Она говорит, надо. Не тебя жалко, маму жалко. Она всю жизнь для тебя копила, и квартиру, и вещи, и деньги.

Мамы давно нет, а мы едим ее консервы.

ПРОЗА

Я встретил с собакой Глашей на прогулке Диму Борисоглебского с бабушкой на прогулке возле больницы. Бабушка рассказала, что Дима сидел за компьютером, потерял сознание, упал со стула и расшиб себе голову. Врач велела гулять, и теперь они с бабушкой гуляют по вечерам. Дима Борисоглебский учился с дочкой Майкой Пупковой вместе в младших классах. Учительница, Ольга Викторовна, говорила, ребята, возьмите ручки и напишите слово. Аня говорила, Дима возьми ручку и напиши слово. Дима слышал только Аню. Учительница Ольга Викторовна говорила, Дима, как тебе не стыдно, почему ты не слушаешь? Дима говорил, вот как ты сказала. А я думал ты не так скажешь. Потом Диму уволили из лицейского класса. Дима стоит возле бабушки и говорит, бабушка, можно я сниму шапку, мне жарко. Бабушка, Галина Александровна, всю жизнь проработала в больнице медсестрой, говорит, «ну что, пишете?» Я говорю, «пишу». «Печатают?» Я говорю, «печатают». Она говорит, «где, может быть, мы читаем?» Я говорю, «за границей». «Много хлопот?» «Никаких». «Значит, талантливо. Вообще-то у вас сложные стихи». Я говорю, «это проза». А сам думаю, мне повезло. Не каждому Диме Борисоглебскому так повезет. Мне уже пятнадцать лет жена Марина рассказывает, в какую руку надо взять ручку и какое слово написать. Может быть, и ей повезло, потому что когда я начинаю писать, то не могу остановиться. Становится понятно, не только мне, но и жене Марине, зачем пишут. И не только это. А дочка Майка Пупкова теперь ухаживает за лошадьми, а не за Димой, а Дима падает со стула.

ГРУЗЧИЦКАЯ ПОДРАБОТКА

Про Леди у меня странное ощущение, что она на самом деле потому бросается от дела к делу и в

результате ничего не делает, что очень устала, что любое другое дело для нее отдых. И поэтому работать с ней в паре мучительно, только начнёте собирать товар, а она уже моет полы, бежит к телефону, бежит говорить охраннику, чтобы открыли ворота, разговаривает с вновь пришедшим менеджером или начальником, ищет чужую рамку, про которую у неё спросили, где она лежит, освобождает коробки, смеётся так, что не может остановиться, говорит длинноты, которые отдают отчаянием и униженностью, как старые вещи нафталином, а ты зависаешь. Поэтому любая, даже самая нелюбезная работа, вроде рабского оклеивания товара, десять тысяч штук за смену, для девушки до замужества, для тебя милее, чем работать с Леди в паре. А всё же она из них самая живая. И вообще, женщины на этой работе интересней мужчин, трагичней, больше, что ли. Может, потому что Москва, может, везде так. Героиничиха, Леди Макбет Мценского уезда бунтуют сильнее Димедролыча, Шивы, Будды, Рама, выполняя службу. Димедролыч в претензии к целому свету, что он не видит смысла, Будда, Шива и Рама, три ипостаси одного Бога, вернее, его добродетелей. Шива, который покупал мороженое девочке-рабыне и мне, загримированному под грузчика автору, разведчику в роли чма, посланному на задание, как здесь любят и как здесь ненавидят, как здесь дружат и как здесь презирают, разведать на обеде. Рама, который не ругается матом при сыне. Будда, который уживается со всеми. И Героиничиха, которая сначала всех строит, а потом ищет благодати. Они с Димедролычем подружились, потому что это примерно одно и то же. Быть в претензии к целому свету, что ты не находишь в нем смысла и в построенном строю искать благодати. А мы подружились с Леди. Такая дружба-вражда, когда люди понимают друг друга с полуслова, только на свой лад. Я - что всех жалко, а потом вдруг кидаюсь, потому что себя тоже жалко, сколько можно меня чмить. Она - что себя жалко, а потом, что все сотрудники фирмы, оказывается, не мутанты, а люди. Я вот, например, до этих конкретики и обобщенья не смог подняться. Правда, у меня другая работа. Не пить водку и алкать чуда. И в конце концов так натренироваться, что пьянеть от кваса сопричастником жертвы.

ДЕЛО НЕ В ЭТОМ

Начальники нужны. Вчера, когда Балда Полбич в два часа ночи устроил рок-концерт возле своей доры, которую он третий год чинит. Работник Балда Полбич местный национальный герой с литовскими корнями, посадил и не выкопал картошку, сжег зимой полсарая, не в лес же ездить за дровами, живет с другой пиписькой, когда жена на работе, потому что так получилось. Вовсе не злобен, в прошлом году, взял беспризорного Глядящего со стороны в семью, которых по острову и по стране много разбросано. Живёт у него уже год, работает в музее, помогает Агар Агарычу доры строить. В позапрошлом году дрался с Рысьим глазом, что он углядел своим рысьим глазом что-то не то, что надо. Два лета назад мугузил Глядящего со стороны, что тот не смотрит за детьми.

Начальники нужны. Вчера, когда Работник Балда Полбич с пива устроил в два часа ночи рок-концерт возле своей доры, которую он уже третий год чинит. Посадил недавно картошку, в конце июня. Оранжевые усы говорит, а зачем, он всё равно её не выкапывает осенью? Вышла Нирвана, дочь Кулаковых, в замужестве Золушкина, третьего мужа взяла Ваню, себя моложе в два раза, здесь такое часто, ровесника старшего сына, работает на трёх работах и трёх подработках, тащит службу, выспаться некогда, ещё успевает попасть в клёв на Тамарин причал и наловить два ведра селедки и заколоть корову, правда потом пришлось дострелить, видно, рука дрогнула, но это уже не от нас, взялся же, раз надо. Мандельштам воспитывал жену, писала жена, которая всю жизнь наизусть помнила его книги, чтобы донести до потомков, чтобы было дальше, записывать было нельзя, все на всех стучали, думали, что так можно гарантировать себе безопасность, безумцы. И даже потом написала об этом две книги. Как она пятьдесят лет наизусть помнила все книги мужа, который всё знал наперед, и поэтому женился на девочке и её воспитал.

Здесь всё наоборот, жена воспитала мужа. Север вообще место, где женщина больше мужчины. Мужчина здесь вроде подростка. Кто громче пукнет, кто больше выпьет, кто наловит рыбу крупнее. Вообще-то она здесь не живёт, в этом доме, а в светской части посёлка, где школа, больница, администрация, магазины. Здесь останавливается с мужем и детьми летом старшая дочь, жена владельца двух магазинов на Соловках и бани, но они не вышли, хоть у них дети спали или

не спали. Побоялись или постеснялись. Но они не вышли, а она вышла. Говорит, ты чего, дура, нельзя музыку ночью, голосом почти ласковым, ну-ка давай выключай скорей. И музыка потухла. Надо же, какая мужественная женщина, сказал я Марии, закрыл глаза и заснул, а потом проснулся и пишу об этом, а тогда лежал и наворачивал про великое ничто. А Марии было всё равно, она бы и так и так до четырех читала, ещё один тип русской женщины, но это другое, это как у Мандельштамов, только, может, ещё похлеще. Мандельштамиха делала, как муж учил, и сохраняла строчки, Мария может сама научить про строчки, как говорил дядя Толя в моём детстве, трудись только, зверюга, и всё у тебя будет. В деревне Белькова, Стрелецкого сельсовета, Мценского района, Орловской области, в которой я в первый раз в одиннадцать лет выпил водки и обжегся, а потом пытался влюбиться, и мне выбили за это ползуба, который был не молочный, а коренной, так я и хожу теперь с ползубом уже тридцать лет. Потом ещё много ползубов приходилось во рту языком трогать. В армии, в семье, на работе. Но это уже метафорические ползубы: свои и чужие. Эпилепсия, лимфаденит, жена, теща, дочка, мама, бабушка, приступы, припадки, скорые помощи, нотариальные конторы, офисы, квартиры, издательства, книги. Впрочем, это вы уже из другой оперы, как говорил Солёный, герой пьесы Чехова «Как закалялась сталь», в которой ничего не происходит и, чтобы что-то происходило, устроилась великая октябрьская социалистическая революция и многое другое.

Впрочем, я не об этом. Я про то, что начальники нужны. Вчера в два часа ночи, когда Работник Балда Полбич, который устроил рок-концерт возле своей доры (лодка такая), которую он третий год починяет, хоть там работы, прибить две доски, просмолить и покрасить. Но это надо, чтобы фишка так легла, короче, чтобы так получилось, чтобы оно как бы само так получилось, чтобы оно само прибилося, покрасилось, просмолилось. Этим мы все и похожи. Несмотря на совершенно разный опыт жизни. Начальник магазинов и бани Самолетов, работник Балда Полбич, который завёл курей и телка, чтобы куры летали в палисадник к Кулаковым и там кормились левком и маком, а телок за лето откормился на даровой траве, а осенью ни выкопать картошку, ни починить дору, ни заколоть телка, ни съездить в лес за дровами уже не будет возможности, потому что снег ляжет, потому что земля замерзнет, потому что нож потеряется, потому что солёра закончится. До следующего года.

И юродивый писатель Финлепсиныч, который приезжает с семьей на лето, чтобы писать книжки про местных, но мечтает остаться, чтобы стать местным, как будто про такое можно мечтать, но у него на этот счёт свои мысли, зачем тогда писать книги, если не делать как написал?

На самом деле у Самолетова, частного предпринимателя и Финлепсиныча, нищего писателя, живущих в двух домах по соседству на Соловках, есть одна очень важная общая черта. Просто Финлепсинычу это важно, потому что это его ремесло, а Самолетову это неважно, потому что это не его ремесло. Его ремесло говорить фразы, я вас слушаю, вопрос был поставлен, заниматься спросом и сбытом, ездить на трещинную рыбалку на дамбу, за окунями на озёра, за селедкой на Тамарин причал, париться в своей бане, построенной из цельных брёвен, я бы хотел иметь такой дом, выпивать с друзьями и не знать, какая самая главная его черта, потому что этим занимается его сосед по улице нищий писатель Финлепсиныч, который стал юродивым из-за того, что не хотел в это поверить, и хотел с этим поспорить, и поспорил.

Что самая главная наша черта, жить как получится. Великая славянская лень, говорят этнографы, типа Лескова и Обломова. Но ведь в этом есть и благородство, подумал я сегодня. Я не передергиваю. Я ведь что-то сделал. И то, что я сделал, это очень много. Я-то хоть попытался, как говорит Мак-Мёрфи у Кена Кизи в «Кукушке». Просто там всё идет в коме, и старое, и новое, и подставлять, и подставляться, и зона, и государство, и постмодернизм, и неохристианство. Простые тоже артисты, только они ещё пофигисты. А ещё они за свою жопу трясутся гораздо больше сложных. Ведь у них не так много удовольствий. Женщина, вино, рыбалка, работа, любовь, дружба и речь как исповедание веры в то, что они не хотят знать сами, чтобы верить тем чище.

И их жёны, и их дети. Короче, они похожи самым главным. Так получилось. Назови хоть славянская лень, хоть русские, хоть набей туда семь килобайт патетики, хоть напиши строчку, дело не в этом, на песке, на побережье Белого моря. И для этого ехай на поезде сутки, потом на корабле плыви, потом живи в поселке, в той его части, где старожилы и пьющие живут, потом пойди семь километров по тайге, болоту, песку и глине, посиди на берегу моря, полюбуйся, как

комары входят в твою плоть по самую рукоятку, и напиши на песке голый ногой. Дело не в этом.

МОЛИТВА

Я-то думал, что мне ещё надо что-то делать. Продлевать аренду, отдавать деньги, велосипеды, собаку Блажу на закланье, не отдавать церковь, государство и народ для нового режима, а там будь что будет. А оказалось, что я уже могу только молиться. И это старость. И это завязка.

Наступили крутые экспрессионистические события, как всегда внезапно они наступают. Вчера, до поджога рейхстага, а сегодня уже всё по-другому. Вчера ещё не взрывали небоскрёбы и была слабая надежда, что всё будет всё более надёжно, и всё больше держаться на благодати. А сегодня уже мы живём в таком мире, где нужно или чтобы тебя все чмили на публичных аутодафе, чиновники и подростки, или тащить службу и пить, чтобы схватиться. Мол, я в домике, дун-дура, сам за себя.

Сначала пришёл бабы Валин сын из дома лётчиков с маленькой девочкой, попросил велосипеда, доехать до магазина за жувачкой. Мы сказали, что это несерьёзно, он быстрее дойдёт, чем просит, и что я сейчас уезжаю на рыбалку. Я действительно уезжал на рыбалку. Я сказал ему, что это несерьёзно, а потом хотел дать, чтобы он не подумал, что мне жалко, потому что мне не жалко. Через две недели жилконтора заберёт квартиру и все эти вещи, которые мы свозили сюда на остров, как в ересь, как будто в рай можно свезти любимые вещи и устроиться в нём навечно. Велосипед, лодка, мамины ковры и пледы из Польши, которые они полжизни зарабатывали вместе с папой, а сын выродок профукал, мои рукописи и книги, Мариины рукоделия, вышивки и одежда из сэконд-хэнда, дочкины картины, когда она была ещё не она, тринадцатилетняя дама, решившая, что свет начался сначала, когда она родилась, чтобы ей было веселее смотреть кино как всё само получилось, а из нашей тоски в животе явившаяся звезда, чудо, за которым надо ходить и ухаживать, которое когда не покормишь, оно злое, а когда накормишь, оно доброе, ради которого надо принимать все режимы, чтобы зарабатывать деньги на еду и одежду, а ещё пуще на чувство крыши, надёжной крыши над головою, начиная с городской квартиры и загородной дачи, заканчивая церковью, государством и народом.

И другое, которое дорого только нам. Камни и морейка с побережья. Заржавевшие слесарные тиски и латунный монастырский умывальник. Отслужившие вещи, с которыми жалко расставаться. Которые переехали в деревню, чтобы в конце концов достаться пьющему дну и их детям. Посуда, чёрные чашки, фиолетовые чайники, квадратные тарелки. Всё, что красиво до юродства. Но Мария сказала, а где мы его искать будем? И я согласился. Потому что в прошлом году, пока она ходила по милициям и жилконторам, насчёт пропажи велосипеда и продления аренды, я писал рассказы, что настало такое время, что велосипеды сами возвращаются к своим хозяевам, а квартиры сами отдаются кому надо, как женщины, для продления рода, для породы, для благородства. Чтобы было дальше. И в конце концов для молитвы о Боге, которая из всех наших алканий и алчбы вытекает, как вино из разбитого кувшина, как кровь из убитого человека. Как неблагополучные дети своих благополучных родителей. Даже если они благополучны, их благополучие как проклятие. Как ангел Господень прилетал с вестью, месту сему быть пусты.

Потом пришёл Оранжевые усы, отсидевший шесть лет строгого режима, стал на колени и стал просить 70 рублей на бутылку. Водка на острове в два раза дороже, за извоз накручивают, и сколько ни назначь, хоть 700, хоть 7000, всё равно покупать будут. Сказал, что предыдущие пятьдесят вместе с этими семьдесятю через два дня. А хочешь, забирай у меня дрова за двести, четыре куба. Дрова стоят семьсот пятьдесят рублей куб, скажу в скобках.

Нас в Кеми приютила на ночь, пока ждали корабля, дочка местного бонзы, одного из владельцев причала. Мы не хотели ночевать на пристани, тем более что там отмечали чей-то день рожденья, зная, как я по-болгарски вспыльчив и по-русски неразборчив, каждый раз в драке готов перепутать войну с ангельским чином. В своём подгородном доме, который она купила у местного алкаша за тысячу деревянных. Когда на следующее утро она нас провожала на остановке, все мужчины с ней здоровались, а все женщины с ней не здоровались. Я подумал, говорят, мужская логика это: чайка это птица отряда буревестник и так далее, как у немцев. Женская логика это: чайка это не чайник,

не гайка, не деревообрабатывающий завод, который вот уже который год на запоре, потому что фины скупили леса на корню, не муж, который продаст за бутылку дом и квартиру, и себя в придачу, чтобы его не отрывали от телевизора, по которому он смотрит единственную передачу по всем каналам, как всё само получится, что всё постепенно сойдёт на нет. И прочие феномены. И так до исчерпания ряда. Так что в душе и в мире останется место только для чайки. И тогда сознанию, а больше носителю благодати, даже если её совсем не осталось, станет ясно, что такое чайка. Короче, феноменология.

Я сказал, ты чё, совсем меня за падлу держишь? Ты же сидел, зачем ты меня подставляешь? Нашёл на кого молиться, тоже нашёл себе Бога. Первый же не уважать меня потом будешь. Он сказал, ты не пьёшь, не знаешь, что это такое. Я сказал, ну что мы будем соревноваться, кто больнее? Один пьёт запоем, другой припадочный, третий вешаться пошёл, четвёртый начальник, а это хуже всего вышеперечисленного ряда заболеть. И тут он со мной согласился, и даже, кажется, меня не возненавидел, за то, что я поломал ему кайф и ссадил с иглы, если это возможно. Когда всё мужское население, некоторые после работы, а некоторые вплоть смотрят единственную передачу по всем каналам. Как так получилось, что всё постепенно сошло на нет. И в плане личной благодати, и в плане кроющего социалистического отечества, и в плане церкви христовой, которая теперь вроде общественного института, отвечающего за идеологический сектор или, по-старому говоря, фарисейство, и в плане всё прощающего народа, который теперь ничего не прощает.

Потом я пошёл за молоком к соседке, Вере Геннадьевне Кулаковой. Она вышла и стала пенять мне на собаку. Что она кинулась на старшего сына местного барина, и рычала на его же младшую дочку, что вообще смерти подобно, по крайней мере, для Блажи сначала. Что она укусила за голову Маленькую Гугнивую Мадонну. Правда, потом выяснилось, что она сама ударила голову о камень. Короче, что возмущены и возмущены, и возмущенью нет предела. И сам барин, и его жена барыня, и какой-то Паша Павлинский.

Из чего я вынес, что мы раздражаем. Что это последнее лето на Соловках. Что она сама всех накрутила. Что всегда так было. Сключники, уроды, выродки, графоманы, юродивые, святые. И всё это вперемежку и вместе. И непонятно, кто юродивее, а кто святее. Это потому что у тебя ещё были силы удерживать мир от жлобства. Отдавать велосипеды, лодки, собаку на закланье. А теперь их не стало. И мир сразу стал как после поджога рейхстага и взрыва небоскрёбов, в котором можно только работать и пить после работы, чтобы смотреть по всем каналам единственную передачу, как так получилось, что всё сошло на нет: и чайка, и гайка, и чайник, и муж. И отдаю это место, а потом другое и третье для православного туризма, для туристического паломничества, для нового государства, для старого фарисейства, а сам молниеносно старею. И уже никаких чудес и неожиданностей не ожидаю от света. Сначала дожить спокойно две недели в этом месте, а потом сколько Бог даст в другом. И единственно, что у меня осталось за душой от просмотра единственной передачи по всем каналам, это чувство несчастья. И я его буду холить и лелеять. И сначала стану чмом, а потом юродивым, а потом сложу молитву. Как мы втайне от всего мира в недрах государства, церкви и народа воспитали младенца в яслях, а потом его погубили. Но было уже поздно. Младенец уже родился. И уже понял, что дело не в этом. Не в публичных аутодафе, не в юродивых жестах, не в актёрстве, не в фарисействе, даже не в графоманстве. Что дело в деле. Чтобы всё время молиться сначала. А потом не давать деньги на подставу, велосипеды на жлобство, собаку на закланье, народ на просмотр передачи, государство на войну со своей смертью, церковь на культмассовый сектор. И что из этого получится то, что всегда получалось. Святой пусть ещё святится, юродивый пусть ещё юродится, несчастный пусть ещё несчастится, жлоб пусть ещё жлобится, мученик пусть ещё мучится. «Се, Аз при дверях».

И все об этом знают. Потому что это как у мужчин, корова - это млекопитающее отряда парнокопытных, как у немцев. И как у женщин, корова - это не детство, не зрелость, не старость, не дружба, не любовь, не вера, не поэзия, не философия, не богословие, не зона, не государство, не церковь, не ад, не чистилище, не рай, не Соединённые Штаты Америки, не Франция, не Германия, не Россия, не начальники, не надсмотрщики, не работяги и не другая корова. Короче, феноменология, мысли. Вот моя молитва.

ПОПРОЩАТЬСЯ С ПЛАТОНОМ КАРАТАЕВЫМ

Жизнь не закончилась концом света, а началась сначала. По этому поводу можно испытывать вдохновение, но не в сорок же лет. Потому что столько раз она уже заканчивалась и начиналась, что скопилась такая усталость, похожая на смертную тоску, то ли в животе крыса, то ли в груди жаба, то ли в сердце муравей. И они грызут, грызут.

«Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видел ещё в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к берёзе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось ещё выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подёрнутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошёл.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у берёзы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шёл, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел, но в то же мгновение, как он услышал его, Пьер вспомнил, что он не кончил ещё начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружьё, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц - один из них робко взглянул на Пьера - было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжёг, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завyla сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чём она воет?»- подумал Пьер.

Солдаты-товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах».

Толстой, «Война и мир».

Это всё вопросы, похожие на те, что задаёт безумная, юродивая, влюбчивая Мера Преизбыточная из города Апатиты, пожилая женщина. Сколько весит рулон толя? Ты мне дашь селёдки? Сколько весит кедр с землёй? Ты мне дашь окуней? В последний день перед отъездом я разозлился, потому что не до этого, и ответил, сколько весит кедр с землёй? Килограмма два, я думаю, был ответ. Килограмма два, сказал я.

Это похоже на склоку, но, наверное, так и есть. То, что останется, то и есть. Сын нерождённый, и даже два ребёнка, и даже три ребёнка, грех молодости, останутся. Книги останутся как прожитые мысли и несовершенные поступки, которые, может быть, кто-то ещё совершит, которые настоящие дети, потому что наши дети отдельные люди. У начальников дети или циники, или наркоманы, у подчинённых - добрые и злые юродивые. А я, я ухожу. Бог его знает, куда я ухожу. Надо уже теперь готовиться, больше курить, пить и работать, чтобы не говорить лишнего, не успевать за курением, питием и работой. Смогу ли я оттуда посмотреть, вот что, наверно, сладко, и будет ли мне это интересно? Жить несколько лет, а умирать навсегда.

А вообще-то, литература тем и хороша, что она как заgrabность. Это вам не телевизор с его сытенькими журналистами и актёрами, которым нравится нравиться, бедным. Хотя и литература такая бывает. Шестидесятые уже недоступны, пили, но имели за душой мысли. Гуляли, но были трезвы. Но ведь и с нами так окажется, как у Толстого. И Курагины перед лицом смерти с их деньгами, властью и наслаждением - маленькие, несчастные и слабые. И Пьер Безухов с его «добраться до сути» не отпустил свою жизнь настолько далеко, чтобы попрощаться с солью земли русской, Платоном Каратаевым, ослабевшим, расстреливаемым французскими гренадерами. 1000 лет прощались, а где-то с Толстого перестали, сделалось литературой, и стали советскими. Так и на Соловках, везде люди, добрые и злые юродивые, дело не в этом. Дело в том, что прощаться перестали, не то что прощать. Или ты слишком много хочешь. Но ведь сделали в этом году Валокардинычиха, Ма, Мера Преизбыточная, Вера Верная то, что я назвал попрощаться с

Платоном Каратаевым. В данном случае не за нас заступиться, выселяемых из дома, в котором мы прожили шесть лет, а попрощаться с теми Соловками. Форма прощания выбирается произвольно, в зависимости от темперамента и жертвы. От просто оглянуться, до заступиться и тоже расстреляют. Короче, потщиться. Ведь это и есть христианство, не золоченые ризы, не форма одежды, не новое фарисейство, замешанное на старом. В 20-е-30-е годы выгодно было быть красным, в 60-е-70-е партийным, в 90-е стало выгодно быть верующим. Народа два, народ и население, население всегда выживает, ему всё равно, какая форма одежды и речёвки, МЧС, паломники, КПСС, КГБ. Там главное, что оно ещё не сделало своего выбора, они деньги в детей вкладывают, добрых и злых юродивых. Народ всегда подставляется, это и есть христианство, потщиться подставиться, насколько ты сможешь, никто не требует большего, ни Христос, ни Толстой. Что ты есть, а не как в детстве, я в домике, меня нет, верующие так верующие, неверующие так неверующие, лишь бы выживать на вираже истории. Хотя бы оглянуться - и это прощанье, если на большее тебя не хватит. Валокардинычиха побежала в жилконтору, поймала Богемыча, бывшего двусмысленного брата, стала обзывать полудурком, за то что Яниных выселяет. А он в ответ, а они что тебе родственники? Я, когда она рассказала, поцеловал пальцы, конфетка. Там ведь всё просто, выгодно, невыгодно. В середине девяностых, когда отдавали в аренду, было выгодно принимать москвичей, потому что и деньги круглый год платили, и дом обиходили. В начале 2000х невыгодно, потому что православный туризм и туристическое паломничество. Квартира на Соловках - золотое дно и доллара инфраструктуры. В прошлом бы году не пошла, что мне, Господи, больше всех надо? Ещё не умер Валокардиныч. А теперь поняла, что людей почти не осталось, хоть их стало в десять раз больше, но те в домике. Они тебе что родственники? Подошла другая начальница, ну что скажешь, куколка? Та ответила, херукалка, вы зачем Яниных выселяете? Вы понимаете, стены и кресты, Платон Каратаев и Соловки, конечно, что дело не в Яниных. В прошлом году, когда я сказал Грише, что нас выселяют, можно мы у тебя в сарае на улице оставим какие-то вещи, память, Соловки настоящие, дочкины картины, мои рукописи, мамины пледы, женины вещи, принесённые из сэконд-хэнда в начале девяностых, как влюблённый ценитель находит в лавке старьёвщика шедевр забытого мастера Бога и покупает за копейки, да больше у него и нет, то Гриша ответил, вы знали, на что шли, когда везли вещи на остров. Ты-то, Господи, не знал, на что шёл, когда рождался и всё же родился. Родственник Бога Богемыч тоже ведь знал, на что шёл, когда становился начальником. Короче, что я хочу сказать. В прошлом году, когда нас выселяли и Мария всем рассказывала про это, Вера Верная в ответ рассказала о своих горестях, дочку зарезали на вступительных, Гриша сказал то что сказал, Валокардинычиха боролась за Валокардиныча, ей было не до дачников. И только Ма сказала, я к вам приду. Ни к чему не обязывает, простая оглядка, но кто из вас без греха пусть первый бросит в неё камень. Вы понимаете, стены и камни, память и совесть, Платон Каратаев и Соловки, конечно. Это не гордыня. Попрощаться с нами - это попрощаться с той жизнью, когда юродивые приезжали из Москвы и Питера и что-то там по углам писали, рисовали и строили, а местные пили, а другие местные выживали, но эти всегда выживают, но все они были вместе, потому что друг другу помогали, давали фору. Даже Богемыч возил меня на доре Агар Агарыча встречать Марию на осенние каникулы, когда я на Хуторе всю осень, зиму и весну прощался с Господом Богом 24 часа в сутки. И кажется, он меня простил, правда наградил болезнью кликуш и юродивых, но без этого тоже нельзя, это смертная память. Богемыч меня тогда раздел по деньгам, хоть пили вместе и допился до белой горячки, с тех пор не пьёт и стал начальник. Может, лучше бы пил? Народ уверен что лучше, и до тех пор он народ, пока не стал населением. Я ведь и тогда всё знал, и про Богемыча, и про Кулаковых, что мы разные. Но опыт мало что значит, жизнь сводит и разводит. Кулаковы, новые баре, отослали гулять в лес с собакой, потому что у них тут кругом дети, а собака какая-то юродивая, то лает, то не лает. В лес тоже нельзя с собакой, рассказал нам охранник с Хутора, который теперь тоже круглые сутки охранник, и когда не работает, и в отпуске, и с женой в кровати, и на рыбалке. Где же нам гулять с собакой, на том свете, что ли? Как я писал когда-то, чтобы видеть Бога, надо всегда держать подле юродивую собаку Блажу. Потом всё стало ясно. Зачем нам дачники из Москвы, у нас же нет дач в Москве, сказал Богемыч. 30 лет жизни как будто бы и не бывало. Когда юродивые художники, поэты, ремесленники и ученые из Москвы и Питера устраивались здесь общиной. И тот же Богемыч сам приезжий. Короче, вы знали, на что

шли, когда везли вещи на остров. Я не свожу счеты. Я прощаюсь. Просто теперь другое. Туристическую группу ведут по мосткам на Зайчиках, где Димедролыч шесть лет с Богом разговаривал по 24 часа в сутки после митрополита Филиппа, который всё мог, как Маугли, и соборы строить, и себя закланывать, после императора Петра, который как заведённый все строил и строил, как будто бы в этом дело, что ему делать дальше, подставлять или подставляться? А потом собрался и теперь служит менеджером по закупкам в офисе в фирме в мегаполисе с населением средней европейской державы. Отдаёт деньги матери, бывшей жене и детям, а сам ложится на стол, заваленный файлами, задирает ноги на дисплей и мысленно восклицает, да пошло оно всё на хер. А группа туристов идет одна по мосткам, пока про Димедролыча, святого Филиппа, Петра и Господа Бога пишу. С которых сходить нельзя. Впереди идёт экскурсовод, сзади охранник или эмчээсник. А что делать, если вся наша жизнь сплошная чрезвычайная ситуация. Зато в этом году, когда Мария сказала, что нас уже выселили, Вера Верная сказала, попробую поговорить с мэршей, Валокардинычиха испекла пирог, подорожники, сказала, будем искать другую квартиру, а вообще-то я завтра позвоню мэрше. Ма пришла с тортиком и сказала, я ничего не знала, но пришла Мера Преизбыточная и сказала, надо бороться. Я сразу всё поняла. Я у вас буду долго, завтра я выходная. А мы завтра уезжаем и нам надо собираться, не сказали мы. Сносить вещи в сарай, хоть дело не в вещах, а в памяти. Отъезд очень похож на смерть, как сон на загробность. Только с собой не возьмешь, ни кофеварку, ни строчки. Зато к маме подходят два небесных особиста, подполковник и полковник, ангелы и говорят, ты давай влияй там на него по своим каналам, а то он всё пишет и пишет, они ведь потом всё прочтут, лишь бы самим не делать, чтобы сделаться из советских постсоветскими, которым всё равно кому памятник на Лубянке ставить, митрополиту Филиппу или рыцарю революции, начальнику террора в одной отдельно взятой стране для всего населения, лишь бы зарплату платили, лишь бы выживать на вираже истории, он тебе что родственник? Мама отвечает, хорошо, с желтыми губами и желтыми глазами, цвет разлуки, и начинает думать мысли, а я думаю, что это я их думаю. Надо мамины два ковра и плед назад увозить, и книги, и рукописи - то, что сюда привез в начале лета, как Сизиф с его камнем, туда-сюда вожу одно и то же. Что ж, и это форма прощания, если на большее не можешь потщиться, а не форма ереси, что мамины ковры и пледы - мама, а твои рукописи - ты.

ШИФРОВКА

Ну, она просто не соизмеряет степень опасности с силой удара, сказала Мария. Когда я ей на третий день по приезде в оседлый базовый город Мытищи, где живут инопланетяне: Гойя Босховна наехала, чтобы позвонили в милицию, что прежние хозяева квартиры не забирают машину, гараж на отпоре, бомжи ходят, на хер мне это надо? Которых расплодилось за лето еще больше. Одна сторона центральной улицы Старых Мытищ городская, другая деревенская. Там - стекляшки, бары, девятиэтажки, джипы, здесь - собачьи своры, склады, долгострой, бомжи, одно- и двухэтажки. Там - асфальт, мостовая, автобусные остановки, здесь - заросли крапивы и собачьи свадьбы.

А я в ответ, все умрём. А Мария, она просто не соизмеряет степень опасности с силой удара. А я, круто, пойду запишу. Это про всех инопланетян. Они этим и отличаются от мутантов, индейцев и послеконцасветцев, а это все люди, чем подростки от взрослых, что я в центре мироздания, а вокруг не я, тьма внешняя. У индейцев по-другому, я на периферии, а не я в центре, но это потому что ещё не было искушенья корыстью, удара помертвенья, всей жизни, после которой вы делаетесь или мутантом, или индейцем, или послеконцасветцем. Про индейцев больше всего информации в разведчицком центре, в который шифровку вы перехватили, воздух и стены, у которых глаза и губы, тьмы тем праха земного, который дышит, потому что всё живое. Так всегда у Бога, а мы ведь Божьи, хоть третий век уже бунтуем против него. Сначала с революцией и Наполеоном, не надо нам его подарков, в смерть как в омут, в жизнь как в бездну, крематорий и колумбарий в конце тоннеля. Потом с Гитлером и Сталиным, наши мочат ненаших, а когда ненашими оказываемся мы сами... Но, собственно, я про это. Мутанты, которые всегда фехтуют, дома я в центре, на работе не я в центре, двуличие как главное следствие удара помертвенья,

искушения корыстью, итог всей жизни. Грустно, но не самое страшное из того, что может быть. Остаются послеконцасветцы. У тех вообще нет я и не я, но с этими сложно. Моя мама, когда умирала, была таким послеконцасветцем, который знает, что любая шифровка рассчитана на утечку, любая жизнь на бессмертье, даже если потом в смерть как в омут, потому что при жизни - бездна. Я не знаю, насколько я внятно излагаю, Господин из Сан-Франциско, подполковник Штирлиц, святой Филипп, митрополит московский, который всё мог, как Маугли, и соборы строить, и себя закланывать, как все послеконцасветцы. У них широкий профиль в отличие от индейцев. Те больше по ремёслам и по выпить водки. Мутанты те больше службу тащат во многих поколениях. Инопланетяне, у тех любимое занятие - подставить другого под комелёк, как Ильич на субботнике в знаменитой фреске детства. Натирают машину до янтарного блеска, а тряпочку за забор бросают: дальше начинается тьма внешняя. Архангел Гавриил с трубой, уважаемый читатель, моя периодизация условна. Один Бог знает, кого в ком сколько.

Никита Янев, Веня Атикин, Гамлет, Финлепсиныч, Послеконцасветыч, Генка, индеец, мутант, инопланетянин, послеконцасветец, разведчик федерального центра в неблагополучной провинции, а также несуществующего центра смерти во всякой периферии жизни. Шифровка, рассчитанная на утечку, как земля глядит на небо, а вода в себя вытекает.

ДО СВИДАНИЯ, МИЛЫЕ

Понимал, но совсем по-другому. Что можно и расстаться с женой, дочкой, матерью, матерью матери дочки, но не для других жены, дочки, матери, матери матери дочки, а чтобы всё было уже по-настоящему, потому что до сих пор подставлял их под комелёк, как Ильич на субботнике в знаменитой фреске детства, службу тащить, а сам уходил думать в дальние комнаты и приходил, чтобы взять деньги на одежду, книги и фрукты и задать тону воспитанию дочери.

И вот в один момент показалось, что все эти хлопоты с продажей квартиры маминой ничего не стоят рядом с другими хлопотами, поставить памятник на могиле маминой, а они в свою очередь рядом с другими, ещё больше настоящими, остаться одному, чтобы помнить обо всех. Потому что так не получается, что Бог это другой, потому что начинаешь строить в порядке, жухаешь, а думаешь, что не жухаешь, а просто говоришь вслух. Но вот ведь не печатают, потому что пока не надо твоей правды. И здесь то же самое. Нельзя подмахивать, но и нельзя жухать. Надо уйти в сторону, если не можешь большего. Просто подставиться.

Я тогда этого не понял с работниками одной московской фотофирмы, Димедролычем, Героиничихой, Шивой, Буддой, Рамой, Леди Макбет Мценского уезда, Госпожой Бовари. Мне казалось, зачем такая непоследовательность, строить в порядке и искать благодати, только служить и искать смысла. Я ещё обзывал их мутантами. Мужское, женское на работе можно, а человеческое после работы, а «после работы» нет. А ещё интересно, что иерархия именно так располагается. Героиничиха, которая больше всех работает, а потому имеет право других заставить. Димедролыч, который работает не меньше, но уже на истерике. Будда, которому всё равно. Это начальники, а вот подчиненные. Госпожа Бовари и Леди Макбет Мценского уезда схлестнулись по поводу местного истолкованья женского счастья. И победила, как ни странно, Леди, по крайней мере, до времени. Шива и Рама союзники. Шиву нужно уволить, потому что он друг начальника и начальник не хочет платить ему столько, сколько он спрашивает. И сначала он, видно, был нужен для внешних связей с общественностью. А теперь, когда связи устаканились и понты не долбят, он не нужен и его опускают, чтобы он уволился, а он не увольняется. И Рама не увольняется, хотя ему платят шесть тысяч за работу почти каторжную. То есть становятся видны иерархия и твоё прелюбодеяние. Что начальники кивают на подчинённых по поводу трудовой дисциплины и божественной благодати, что работать надо почти бесплатно. А подчинённым не на кого пенять, и тогда они раздвоятся. Одной половиной себя говорят, что на них смотреть, их трукать надо, на дамочек. Другой половиной себя покупают мороженое на перемене между работами каторжными девочке-рабыне и писателю, загримированному под грузчика. Почему? Потому же зачем самому главному начальнику нужен был Шива, бог любви, для дружбы с другими самыми главными начальниками, а когда дело процвело, стало понятно, есть славяк,

есть голяк, а есть сплошняк. Для голяка Шива не нужен. Грузчик, которому платят десять тысяч. Для голяка нужен Рама. Грузчик, которому платят шесть тысяч. Но, может быть, они победят. Бог любви и бог войны своим московским терпением, не самым терпением в мире, но когда в электричке переполненной в Москву из ближнего Подмосковья добираешься в тридцатиградусную жару и думаешь, так каждый день? А потом думаешь, да им только за то, что они до неё доезжают, сразу надо платить десять тысяч без разговоров. Начальники со мной не согласятся, у них свои счета и в них всегда не сходится дебет с кредитом. Зато они сразу подружились, Шива и Рама. Бог войны сразу понял, что бог любви выше по иерархии и подчинился беспрекословно.

Зачем я это всё говорю? Чтобы добраться до своих чертей. Если ты так крут, чтобы всех судить, маму, жену, дочку, маму мамы дочки, Героиничиху, Димедролыча, Шиву, Будду, Раму, Госпожу Бовари, Леди Макбет Мценского уезда, начальников, подчинённых, тогда не составляй списки, что с чем надеть. Синие джинсы, обрезанные под длинные шорты, жара, с жёлтой футболкой, купленной в мытищинском сэконде за тридцать рублей. Светлые штаны с веселенькой футболкой, болезненное пристрастие у сорокалетнего мужчины к светленькому и веселенькому. Серые шорты с обильными карманами и бордовая футболка, купленные по случаю на Мелитопольском рынке в развале, когда отъезжали на курорт Кирилловка, что на Азовском море, в часе езды от города, где бабушка и дочка, бедные, мучаются без воды и общества за пятнадцать долларов в день с человека.

Если ты так крут, будь один, чтобы никого не ранила твоя галиматья, которая на бумаге может быть красивой литературой, может быть. А в быту простое юродивое занудство. Будь один. И смотри на них на всех как с необитаемого острова, или как с тонущей подводной лодки, или как с летающей тарелки, отчужденно и мученически. Как Платон Каратаев говорил, всё хорошо, все хорошие, ничаво, малай. На самцов, на самочек, на внушек, на бабушек, на продавцов, на отдыхающих. Не получается. Страх и стыд юродивые не пускают быть одному и всё прощать другому себе, многоликому, спасительному.

Просто каждый раз кажется, что своей работой умеренной, ванну вагонкой обшивал, крышу заделывал, на компьютере набивал свои рассказы и повести в нашем неблагополучном одноэтажном доме, последнем в Старых Мытищах. Квартиру продавал мамину, ставил памятник на могиле матери с женой Марией в чужом родном южном городе Мелитополе, бывшем осколке бывшей великой империи в скифо-сармато-казацких прериях или на Приазовщине, как по-местному. Заслужил маленьких подарочков, поехать в книжный на Лубянке и купить книжку Астафьева «Затеси», книжку Довлатова «Ремесло», которую наскребли с бора по сосенке, он такую книгу не писал. Если бы при жизни их так любили, людей, как после смерти их любят, всё было бы по-другому, а может, и нет. Ведь и Мере Преизбыточной в клинической смерти казалось, дай только вернись, в лепёшку расшибусь, чтобы вокруг не было этого космического холода, и больше ничего. А вернулась и снова стала жухать и подмахивать, дарить то, что нельзя продать, просить то, что нельзя купить. Зато безумная, юродивая и влюбчивая. Это самое большое достижение российской государственности, когда вокруг одни разумные, холодные и немые. Как я в лесу на Соловках, заблудившийся, думал, вот вернусь и заживём так, что аж дым со сраки, как говорил Петя Богдан, он тоже умер. Их как-то враз Бог подобрал, талантливых. Останин, Морозов, Агафонов, Петя Богдан, Николай Филиппович Приходько и многие. Я не талантливый, я юродивый. Это когда как на фотографиях во время застолий видно, тот, кто не пьёт, пьянее тех, кто пьёт, потому что испытывает двойную вину, за тех кто пьёт и за то что не пьёт. А вернулся, не стал мочь терпеть другого себя совсем, который Бог, многоликий, спасительный, начальники, подчинённые, дамочки, бывшие двусмысленные братья, мама, бабушка, Соединённые Штаты Америки, Мария жена, Майка Пупкова дочь. Поехать на курорт Кирилловка, а по пути на рыночном развале в нижнем городе купить красивой ветоши: футболки, жёлтая, бордовая, пёстрая, шорты как у бой-скаутов.

Думал, что, может быть, это полезное приключение, не хотел северных туристов потерпеть, получи южных отдыхающих, которые в одних плавках везде шарятся, на рынке, в банке, на улице, словно у них тела уже нет, остались одни сущности. Это даже удивительно, когда столько тел на одном пятачке, и автомобили, и грузовики, и горы южных плодов, и плавки, и телепузики, и

шашлыки, и развлечения, и никто ни с кем не сталкивается. Только мужчины глядят на женские прелести, а женщины на мужские и ничего не чувствуют, божественная благодать.

А кроме того южный пейзаж серьёзно отличается от северного. Как Белое море от Азовского. Как так получилось, что я стал путешественником? Я никогда не хотел им быть. Я думал, это такие дела, самые насущные на свете для меня, писать икону на севере, выручать мамины деньги на юге, в середине на эти деньги издавать написанную книжку с фотографией папы на обложке. А получилось, что меня посетило чувство одиночества, свойственное всем путешественникам, слишком часто меняющим веси, и не могущим ответить за базар, и так привыкающим, что людская толпа вся состоит из манекенов, из пустоты, как ни меняй декорации с южных на северные, а потом на умеренного климата, как у Бродского. Как на Тамарином причале на Соловках два белых манекена стоят и якобы ловят рыбу деревянной рамой вместо сети, из Арт-Ангара вышедши, а им никто не верит, и мало того, на них никто не обращает внимания, как на памятники Ленина на всех вокзалах страны. Бедные, побыли искусством, может быть, одно мгновение, пока их делали ремесленники, для которых ремесло как для Гриши Индрыча Самуилыча, форма спрятавшейся материи от себя самой. Чтобы настоящим искусством быть, записью смертника на стене: до свидания, милые. Но не смог, не хватило тямочки, переместили в другую камеру, для расколовшихся. А я заплываю далеко, стараюсь дальше всех, туда, где только водные мотоциклы прыгают, и думаю. Азовское море похоже на озеро Светлое Орлово, и по размеру, и цветом воды, но, конечно, не температурой воздуха, от которого и вода становится как парное молоко. На Светлом Орлове, если далеко заплывёшь, то просто назад не приплывёшь от холода. Ещё думаю, что так получилось, что я думал, что умершая мама нас всех вместе соединит юродиво: меня, дочку, жену, бабушку, книжку, страну. А получилось наоборот: мама как форма одиночества встала вокруг меня. Думал, что это как смерть на миру красна, ты любишь людей всё сильнее и люди любят тебя, а получилось наоборот, как медленная казнь, все от всех отчуждаются, страх, вина, страдание. Выпить и закурить, и познакомиться с дамочкой. Или всё время болеть. Как у мужчин в сорок лет, а у женщин в пятьдесят открывается второе дыхание. Они понимают, последний раз они могут переделать все дела. Как мы с Марией шестой день наполняем сумки овощными консервами мамиными или закатками, по-южному. Мешок спичечных коробков, упаковка стиральных порошков, коробок пятьдесят, сушёных цветов и трав с избытком на пять лет вперёд на центральный склад всех гомеопатических аптек Москвы, одиннадцать миллионов населения, это заниженные данные, а сезонники, а ближнее и дальше Подмосковье, а бандиты, а бомжи?

Бедный Гоголь, ничего не понял про Плюшкина, что Плюшкин просто как умирающий на одре или как тонущий хватается за всё - и за что ни схватится, всё делается спасительным. А потом наследники не понимают, что это такое, посланье, письмо или безумие, форма запутавшейся в себе самой материи, все эти бесконечные склянки с засушенными мухами, сургучики и окаменевшие надкушенные рогалики. Бегите скорей к полуобнажённым дамочкам, к водителям маршруток, к раздетым мужчинам, похожим на мопсиков, молча смотрите прямо в глаза. Они уже всё поняли. Что вы привезли бабушку, дочку, жену под видом что на южный курорт, под видом что делать дела, продавать квартиру наследную и ставить памятник на могиле матери, а на самом деле жить напропалую, а на самом деле всегда знать, что многое зависит от камеры, что на ней написано, расколовшиеся, ухари, смертники. А на самом деле, будет такое мгновение, что между вами и самыми полуобнажёнными дамочками, и самыми раздетыми мужчинами, которые хотят только одного, их только трукать, дамочек, и всё, промелькнёт понимание. Словно мама сидит на лампочке и мигает лампочкой. Что сначала надо быть таким безумно одиноким, хватающимся за всё, за дамочек, за сургучики, за мопсиков, за пиво с креветками, за джип и боулинг, за факультет социальной психологии или психологической социальности, хрен их проссышь, как говорили в моём детстве в чужом родном южном городе Мелитополе, как за последнее спасение, и через мгновенье восклицающим, опять не то. И когда хламом захламляется практически всё пространство сцены, тогда и становится виден главный герой одиночества, этой безумной пьесы о тысячу тысяч лет или земной истории, как говорится: мама, папа, бабушка, Петя Богдан, Николай Филиппович Приходько, Останин, Агафонов, Морозов, сто семьдесят пять тысяч замученных на острове Соловки по данным общества «Память», тьмы тем дедушек, так что даже не поймёшь,

чего же там больше, праха или листвы, в суглинке, чернозёме и подзолнике, Бог-отец, Бог-сын, Святой Дух. Прервусь, чтобы не стать графоманом, перечисляя всех, тоже род безумия безответной любви.

Короче, чтобы пришёл ответ, нужно как можно больше быть одному. Вот мамино завещание мученическое. И тогда становятся понятны и легки человеческие привязанности и слабости, алкание, алчба, безумие. А за ней немота осязаемого мира заголосит, меня, меня, возьми меня, как женщина хочет родить от самого сильного и талантливое, а потом рождает от самого понятного и для неё несчастного. Так и ты, можешь вместить, но не умеешь отдать. Не хватает такта и ума, таланта жизни, наконец. Вот мой заместитель по связям, жена Мария, она умеет, а я пойду полы подметать.

На заметку самому главному начальнику одной московской фотофирмы эзотерическую, я не удивлюсь, если Шива их всех победит, на то он и Шива, языческий бог любви.

ПРИПАДОК

Кажется, что я скоро умру, как Петя Богдан. Хорошо это или плохо? Лет десять мне осталось. Ход мысли такой, что будет несчастье. НТВ закрыли, подростки в метро ходят колоннами, все соседи в неблагополучном доме, последнем в Старых Мытищах, соединяются беспорядочно через стены, новый начальник, бывший двусмысленный брат Богемыч сказал, вас не надо на острове Соловки, где мы лечились болезнью эпилепсией от книгонепечатания. За него подписались новые бары Кулаковы, надсмотрщик за ловлей форели, министерство по чрезвычайным ситуациям, местные индейцы, искушённые корыстью, ударом помертвения, всей жизнью, которой будто бы не бывало. Мария сказала, в школе вводят форму, я хочу послать в одно издательство твою прозу, только без рассказа «Не страшно», в котором ты пишешь про мою работу. Начальница узнает - и мы останемся без средств к существованию и сойдём на нет, как твоя мама в чужом родном южном городе Мелитополе перешла в квартиру, в вещи, в кладбище, в деревья, в птиц. И это тоже страшно. А ещё комары в форточку залетели без марли, потому что кошка Даша - клаустрофобка, а фумитокс внезапно закончился - и ночь прошла без сна за созерцанием того, как соседи беспорядочно соединяются за стенкой под громкие крики восторга, и мысли, что мы тоже не рожаем. Если прибавить к этому, что мамину квартиру мы не продали, и денег нет, и бароны Мюнхгаузены книгопечатающие провалились во всегдашнюю дыру в животе, и нужно устраиваться на работу мальчиком на побегушках в одну московскую фотофирму в сорок лет, если ещё возьмут, то к утру я был в кондиции. Это когда боишься не то что перемены режима, а на улицу с собакой выйти в рабочее время от стыда и страха, что ещё не за решёткой.

Потом очнулся, стал читать чужие книги, в меру кокетливые, в меру убористые, про то, что жизнь ещё не завершилась и это очередное чудо. Потом ходил на рынок, потом гулял с собакой, потом затягивал протекавший потолок на веранде с оборванным рубероидом маминой льняной мешковиной с огромными красными цветами и обшивал по периметру рейкой, получилось красиво. Потом делал деревянную полку для рукописей, семейных альбомов, маминых, папиных и моих писем. Хочу всем этим заняться, может быть, получится книга. Мои письма из армии, отцовы смертные фотографии, мамины цитаты из библии, поваренной книги, травника, съездов украинских коммунистов, переписки с чиновниками и властями, наивными ругательствами и счётом спиц. Тоска такая, что в голову приходит локомотив маневровый, на большой скорости пронёсшийся рядом в полушаге на станции Харьков. Была нелепая мысль, всего полшага. Потом делал рамки для Марииных ангелов, вышиванья, которых всё больше и больше, она ничего другого не вышивает. Как в рассказе у Буйды «Всё больше ангелов», который она мне прочла, потому что я сам не хотел. А я ответил, беллетристика работает только наполовину, даже самая блестящая, потому что, кроме поэзии, есть философия и богословие, кроме ада - чистилище и рай, кроме дружбы - любовь и вера, кроме войны - ненависть и несчастье, кроме зоны государство и церковь, кроме чувства страсть и ум, кроме детства - зрелость и старость, кроме начальников - надсмотрщики и простые, кроме бесноватых - юродивые и кликуши, кроме форы - богоборчество и ловушка. И это уже очень сложно, страшно и стыдно. И всё это может вместиться только в

личный поступок. И без отчаянья, что всё по-настоящему и запорол разведчицкое задание, литературу, вместе с жизнью, не прорвёшься к простой мысли.

Купил килограмм слив и половина - сросшиися двойчатки. Значит, будет какое-то счастье. Интересно какое? Умру скоро или напечатают книгу? А я-то думал, что меня никогда не узнают, ни ангелы, ни серафимы, ни Бог, ни люди, ни деревья, ни птицы. За моим русским одиночеством я стану невидим как смерть. А я-то думал, что я неудачник. А я-то думал, что всё напрасно. Белое море, Азовское море, озеро Светлое Орлово, морские бычки, плотва, грибы полубелые, грецкие орехи, украинская и русская таможня, компьютер, ягода морошка, дочка Майка Пупкова, жена Мария, тёща Эвридика, внешняя политика, футбольные репортажи, апокалипсис, сострадание, отчуждённость, равнодушие, горе, индейцы, инопланетяне, мутанты, послеконцасветцы, люди покойные и живые, умные и хитрые, добрые и злые юродивые, история, природа.

А потом приехала жена Мария с работы и выключила нагреватель воды, а то бы он взорвался, потому что реле на предохранителе сгорело, и электрик подключил напрямую. Пахнет палёными проводами.

ИНДЕЙЦЫ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ, МУТАНТЫ И ПОСЛЕКОНЦАСВЕТЦЫ - 2

В неблагополучном одноэтажном доме, последнем в Старых Мытищах, живут четыре семьи. Вождь Грибов и вождыха Грибницева - индейцы. Гойя Босховна Западлова и Базиль Базилич Заподлицов - инопланетяне. Срань и Пьянь - мутанты. Финлепсиныч и Двухжильновна - послеконцасветцы. У них есть свои дети и свои мысли. У вождя и вождыхи сын вождёнок. У Гойи Босховны Западловой и Базиль Базилича Заподлицова дочь Цветок. У Финлепсиныча и Двухжильновны дочка Майка Пупкова. Срань - сын Пьяни. Про их мысли можно рассказывать много. Что индейцы вырождаются, что когда Гойя Босховна Западлова делала аборт на дому Цветку, Базиль Базилич Заподлицов, неродной отец, пришёл помогать из сострадания. Что сначала Пьянь обижал Срань, а теперь Срань обижает Пьянь. Что Финлепсиныч и Двухжильновна отдали дочку на заклятие. Но если про главное.

Индейцы, которые живут на своей земле. Я, центр вне их. Они не главные. Инопланетяне, которые от своей земли отчуждились. Я и центр в них. Они главные. Мутанты, которые решили, что главного вообще нет. Богоборчество, подстава, любимая тема Достоевского. Послеконцасветцы, у которых вообще нет я и не я. Всё - земля, а земля - часть неба. Работу надо делать иерархическую, чистить бездну в Бога. Всё главное. Таким образом, это как бы разные возрасты одного человека. Когда он ещё не перебесился и когда он уже перебесился. Правда, ещё бывает так, что он за всю жизнь не перебесится. А бывает так, что он уже сразу рождается тихим-тихим.

ФИНЛЕПСИНЫЧ

Финлепсин - противоэпилептическое средство.

Справочник лекарств

Я обычно не заглядываю ни в журналы, ни в газеты и телевизор включаю через три месяца после лета, когда московская жизнь уже надавит. А потом, так получилось, что лето на севере и юге в этом году прошло как прощанье. На севере бывшей империи, на острове Соловки в Белом море местная жилконтора забрала квартиру, которую мы у неё пять лет арендовали. На юге бывшей империи в городе Мелитополе возле Азовского моря продавали мамину квартиру и не продали, то ли дорого запросили, то ли сидеть надо было дольше, то ли ремонт надо делать. Вот соберусь с мыслями, напечатаю на компьютере то, что написал за весну и лето, подработаю на грузчицкой подработке немного денег и опять поеду. Но я не про это. Сегодня, 1 сентября 2003 года, жена торопилась в школу на работу и всё побросала в спешке, как придётся, все вещи. Я тоже встал рано, перестал пить таблетки, и вчера что-то было, припадок не припадок, но в этом роде, потом ничего не можешь делать. Весь день спал, короче, и с пересыпу с трещащей головой прибирался в

квартире.

Журнал «Новый мир» № 1 за текущий год, газета «Антенна». Глаза как всегда резанула бездарность сначала. Алла Пугачёва нашла себе нового мужа. Родился ребёнок с четырьмя ногами и четырьмя руками, и иркутские хирурги выправили положение, отрезали лишнее пока не поздно. Стихи про то, как так бывает, что ничего не бывает. Проза про то, что случится, когда ничего не случится. Потом холодная отчуждённость миру, холодная отчуждённость мира распадается на страницы. Эта фраза Богемыча, бывшего брата, до сих пор не даёт мне покоя, помноженная на всегдашнее неуютство в начале православного и учебного года. Много ездил, писал, думал, строил планы, хотел напечатать книжку. Потом, как всегда, это рухнуло. Остались одни тяжи. Как у бывшей империи, Советского Союза. И надо строить всё сначала из обломков. Фраза такая, зачем нам дачники из Москвы, у нас в Москве нет дач. Богемыч только озвучил, ставши начальником средней руки, талантливым, артистичным и вёртким, то, что у всех на уме, у начальников, у надсмотрщиков, у населения, короче, у местных. У всех наших знакомых дома за пять-шесть-семь часов езды от Москвы, не то что бы дачи на лето или куда вложить деньги, а просто дома, на всякий случай, мы ведь все родом из деревни. Но мы дальше всех забрались. Дача за полторы тыщи вёрст от дома, оседлого места обитанья, куда раньше ссылали на верную смерть недоумков, не могущих устроиться в жизни. Потому что там осталась природа, слово из лексикона богемы, что-то вроде городского Бога, когда всё получается само и органично. Из неба вырастает море, из моря суша, из земли вырастает дерево, из дерева птица. Из камней строят церкви, в церквях молятся Богу, не потому что все смотрят, а потому что иначе прожить очень страшно и стыдно. Потом наступает такое мгновенье, что ты видишь, как у тебя на глазах рассыпается империя. Ты даже думаешь, что это хорошо. Ты не свидетель, ты источник. Ты не сумел удержать эти тяжи. Мама, папа, Агар Агарыч с лицом пожилого индейца и раздвоившейся сущностью, в которой когда гордыня побеждает усталость, то приходится закодироваться от равнодушья, что всё равно нет смысла, а когда усталость побеждает гордыню, то приходится строить доры (лодки такие) и это как праздник, торжество ремесла, здравого смысла и бодрости духа. Я ведь давно это знал, еще десять лет назад, когда написал книгу, «Дневник Вени Атикина 1989-го-1995-го годов». Там есть статьи и рассказы про то, что страна и дальше будет распадаться, пока не распадётся на более устойчивые и органичные образования, чем корысть и тщеславие центральных чиновников. Скажем, родовые связи или ответственность за место. Я в них писал, что было две реакции на войну 45-го года, актёрская и героиная, шестидесятники и жители девяностых. По подобию с историей русского девятнадцатого века: три реакции на войну с Наполеоном. Дворянская, романтическая, 1825-го года. Разночинская, позитивистская, 1861-го года. И рабоче-крестьянская, тюремная, 1917 года. Что война в любой истории имеет страшное значение, но, кроме всего прочего, это ещё истолкованье истории, когда один народ что-то раздражает в другом народе, он хочет его построить по своему ранжиру. Так рождаются империи. Потом он подмазывает причины раздраженья, ресурсы, жизненное пространство, истинная вера, единственно верное истолкованье истории и смысла. Была Римская империя, была империя персов, была Монгольская империя, Россия, Советский Союз, стала Америка, но я не об этом. Я про то, что каждый раз есть возможность стать чуточку лучше, что ли, стать чуточку больше местным, тоньше, глубже прожить с Богом, как с любимой невестой. Когда умер Сталин, актёр божества, появилась возможность перестать всё время актёрничать по жизни, что за тобой всё время следит неусыпное око, как в тюремный глазок с того света. Короче, ты стал бояться бояться. Вернее, не я, а мой дед, допустим. Не знаю только, какой, болгарский или русский. Русского к этому времени уже убили, так что он в любом случае к этому времени уже перестал бояться. Когда умер Брежнев, появилась возможность стать героем жизни. Это как у актёров, даже самых хороших. Они всех могут сыграть, а себя не могут, потому что их ещё не появилось. Для этого им надо бросить играть. Стать единственным. Пусть нищим, убогим, но местным. Пусть юридическим, чмом, но сотсюда. Вот почему талантливый, артистичный Богемыч, ставший начальником, потому что пить нельзя, закодировался, надо же жить куда-то. Короче, можно понять, не до жиру, быть бы живу. Как говорила бабушка Поля в селе Белькова, Стрелецкого сельсовета, Мценского района, Орловской области. А я, одиннадцатилетний мальчик с болгарскими тёмными глазами зачарованно запоминал свою судьбу. Озвучил фразу, створожившуюся из воздуха и разговоров,

долженствующую послужить мотивом не очень красивых поступков. Когда люди, по сути, предают предыдущие тридцать лет жизни. Когда совсюду, со всех весей приезжали на Соловки юроды, артисты и желающие жажды жизни. Моряки, учёные, писатели, художники, просто обыватели, как все мы, и строили общину. Что мы всё равно все вместе, несмотря на то, что мы никогда не вместе. У каждого свой Бог, у одного деньги, у другого к себе жалость, у третьего, потщиться, у четвёртого запечатанная консервная банка, пустая изнутри. Нынешний герой нашего времени - актёр, пишущий пьесы, рассказывающий на сцене про свою жизнь. С одной стороны, он подыгрывает, потому что функция литературы - утешенье. А как утешить всех? Кто не стремится к успеху, зачем тогда браться за ремесло? Короче, с одной стороны, он кокетничает, выстраивает модель поведения родного человека, попавшего в неродные обстоятельства. С другой стороны, наступает третья реакция на войну 45-го года. Житейская, как я её назвал, когда каждый герой жизни из героического делается житейским. Ему важнее всего оправдаться перед своим Богом, местным, чем понравиться другим настроеньям, а потом разойтись жить дальше. Вот когда другой Гришковец в абсолютно пустой комнате будет играть спектакли и синклит врачей из Иркутска признает его вменяемым, он станет нашим героем, а не Пугачёва и Галкин.

Но когда было по-другому, скажут мне святой Филипп, митрополит Московский, Лев Николаевич Толстой и зэка Шаламов. И я им отвечу, никогда не было по-другому. Но вы про другого, вы про другое, вы про Бога в истории, совесть, память, вину. А я про другое, историю в Боге, и в конечном счёте, утешение, литературу, моё ремесло. Что я, наверное, плохо делал работу, что остался без дома. Москва, Мелитополь, Соловки - это было моё богатство. Как я в иностранной библиотеке на Таганке писал рассказ «Про плеву», а потом шёл сбрасываться с многоэтажки, потому что нет успеха, денег, дома. Как я на озере Светлом Орлове на острове Соловки в Белом море увидел Бога. Это был килограммовый окунь, таких здесь и не ловят, за которым я сначала наблюдал сквозь пятиметровую толщу прозрачной с оттенком цвета глауберовой соли воды, а потом он у меня в руках прыгал. Как я в городе Мелитополе, это другой конец мира, ходил к маме через парк в больницу и мама мне говорила, живи, раз родился. Окраина скифо-сармато-казацких прерий, Азовское море, болото, в переводе с тюркского. С каждым годом всё больше москвичей там. В этом году Майка Пупкова, дочка, которая с бабушкой ныряла, пока мы с Марией оформляли наследство, ставили памятник на маминой и папиной могиле, летучих мышей и своих призраков боялись, встретила там девочек с одной конюшни.

И вот у меня осталось одно место, Мытищи. Странное место. В июне и августе сплошь дождь, в июле жара. Но я не про это. Сосед в синей тройке и галстук Базиль Базилич завёл свою девятку и уехал на службу, видно, карьерные дела идут всё успешней. Жена Мария тоже уехала на маршрутке на работу, хоть директор школы скостила зарплату втрое. А что делать? Муж-то писатель и уже прошли те времена, когда его за это прогоняли из дома. Что он никого не любит. Поняли, любит. Просто поняли, что люди любят по-разному, кто как может. Дочка Майка Пупкова бабушку учит хорошим манерам, хотя сама хамка. Бабушка Эвридика почти обрадовалась, когда дочка рассказала про трудности на работе. Снова она нужна, её помощь, деньги, одежда. Жена Мария, которая сначала любила любить, а потом полюбила любовь. Придётся мне тоже заняться. Делать работу Гришковца. Быть героем жизни. В абсолютно пустой комнате, залитой сентябрьским солнцем, только книги, компьютер и мамыны пледы, рассказывать Господу Богу как так получилось, что всё оказалось страшно единственно: жена, дочь, мать, тёща, страна, работа, друзья, места, мысли. Как будто он этого не знает. В общем, что-то вроде утешенья, литература.

И утешать-то вроде некого, все службу тащат. А в журналах и газетах печатают пошлость. Не то чтобы пошлость, а сгребают всё в одну кучу. Трагедию, буффонаду, развал Союза, сильную руку, неизбежность локальной войны, террористов, которые думают, что они антитеррористы, антитеррористов, которые думают, что они террористы. И разводят руками, мол, мы не виноваты, что у этого нет смысла. А в пригороде Мытищи герой жизни бубнит Богу на ухо. В общем, они всё понимают, но ничего не могут сделать. Это как ловушка. Каждый хорош тем, что решился быть единственным героем жизни. Начальником, надсмотрщиком, населеньем, чмом, юродивым, кликушей. Как в первоклассной прозе, которой теперь не бывает. И Бог всем корпусом кивает, как вдумчивый собутыльник. «Ну, тогда, значит, вы готовы ко всему остальному, раз уже затеплилось

утешенье, в твоих глазах, Финлепсиныч».

2003

Часть 4. "бесконечность" - 40 = "бесконечность"

Муза

Когда Бог думает, я - Бог, рождается человек. Когда человек думает, я не Бог, рождается Бог. А где же там место смерти между двух операций и обе со смертельным исходом или хоть бы на письме книги как менеджеры, грузчики, сыщики, редактора загоняли в трагедию героя жизни, а сами оставались в драме? Так на зоне на пенсии, любимый читатель, получают книгу, работа, женщина, вино, государство и многое другое. Что-то вроде молитвы, что ли.

Как двое подростков на Соловках, Луноподобный Будда и Один Из Свиты Будущего Пахана собачку Рамаюны обижали, маленькую, величиной с кошку, мастью в чёрное и белое яблоко. Как многие униженные и оскорблённые, она тряслась, прижималась к земле всем телом и не убегала. Богу молится, сказал Тот, что из свиты будущего пахана. А я шёл с Маленькой Гугнивой Мадонной навстречу. Я двусмысленно улыбался, что можно было истолковать и как насмешку над собой, и как насмешку над ними, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А Маленькая Гугнивая Мадонна кричала, папа, мальчишки опять Музу обижают, сейчас скажу папе, он вас отлупит. А мальчишки смеялись, иди на пах, дура. А я двусмысленно улыбался как проститутка на панели. А Муза Богу молилась. А папа, Работник Балда Полбич с крыльца мочился и кричал, Люба, домой. А я думал, ну, понравилось тебе на Соловках жить? И сам себе отвечал наутро на бумаге в тетради. Дело не в этом. Чмошники на зоне общину строили и у них не получилось. Зато получилась книга про то, что, когда Бог думает, я - Бог, рождается человек. Когда человек думает, я не Бог, рождается Бог.

Война и мир

Вика - супер, Даша - чмо. Умри ты сегодня, я завтра. Семья, блядь, чучелов. Запись на асфальте мелом. Зоновская заповедь, одна из главных. Грибница, соседка, индейка, на сына Грибёнка, мужа Гриба, которые должны смотреть за коляской с месячным грибёнком Никитой Вторым. Старший Грибёнок прибежал, бьётся к соседке, Гойе Босховне, у которой Грибница в гостях: ты сказала, будешь на крыльце. - Семья, блядь, чучелов.

Соседка Грибница талантливая, даже соседку Гойю Босховну умела с жизнью помирить, что она теперь будет ухаживать за грибёнком Никиткой Вторым, когда ей нужно отлучиться, и за мужем Базиль Базиlichem, который надорвался на двух работах и двух подработках, летающую тарелку строить в лесу и подводную лодку в Яузе, если вышлют на Джомолунгму после памяти, флаги стран-участниц большой восьмёрки чинить, из которой нас исключили, за то, что мы изменили принципам демократии, если вышлют в Марианскую впадину ленточных глистов своим мясом кормить для флоры и фауны. Крошечному Никите Второму, глядящему мимо и сквозь, похожему на бабочку и ангела, молоко покупать. Супруга по улице Стойсторонылуны, центральной улице Старых Мудиц с палочкой выгуливать.

А раньше бегала как борзая, что она всё делает, а всем по херу. Хотелось сказать, смерти вы не боитесь, Гойя Босховна, сколько нам жить? Может, 10 лет, может, 20, может 30, а может, два дня. А вы всё западла с включённым фонариком среди бела дня разыскиваете. Талантливая Грибница не стала ничего говорить. Дождалась, пока та разгонит всех, дочку Цветка, мужа Базиль Базилича, уё... отсюда, и останется одна.

Придёт и станет рассказывать на языке индейцев племени суахили, ёбт, ёбт, в переводе на эсперанто, не хотела с родными прожить, с чужими теперь живи. И ничего, подействовало. Мужа выгуливает по вечерам, грибёнка Никитку Второго кормит из бутылочки, уходит, когда к дочке,

Цветку, спускаются с небес неизвестные, даже с соседями через стену стала здороваться, которые не хотели с родными мамами прожить, теперь пусть с чужими живут.

Это как война и мир. Война захолустье мира, мир столица войны. Когда много пошлости, халтуры и казёнщины в мире собирается, начинается война. А потом, после войны, те, кто уцелеет, сидят тихо-тихо на берегу реки в траве под деревом, смотрят как маленькая девочка на рыбалку идёт по росе с банкой с червями и с удочкой и плачут от наслаждения.

Москва

А я не знал, что лопухи это деревья. Просто два месяца, май, июнь, шли мусонные дожди. Сезон мусонных дождей миновал. Настала великая сушь. Солнце убило джунгли на 3 дня полёта, кричит коршун Чиль. Борщевик стал эвкалипт, лопухи в тени мегаполиса отдыхают от жары, похожие на слонов, оранжевый сиреневый закат по Ярославке несётся как самосвал в шестом ряду. Ветер сгоняет жару в пёстрые стада бабочек с температурой 36,6. Или это Ренессансные мадонны и Постсуцидальные реанимации, не любящие исподнее. Восточные юноши широко раскрыв глаза следят. Они решили, что это их мусульманский рай. Та, украинские сезонники говорят, это у всех одинаковое. Мудрецы из Запорожья. 15 суток в Москве водителем бетономешалки, 15 суток дома в колгоспе «Перемога» на Каховском водохранилище, рыба, родственники, вино, грёзы о своём доме и детях.

Кроме всего прочего это ещё и вернувшаяся мама, которая умерла полтора года назад в чужом родном южном городе Мелитополе. Я ездил туда целых три раза потом, столько же, сколько когда болела. Чтобы заявить наследство, чтобы помянуть, чтобы продать квартиру, чтобы поставить памятник. И теперь я на эти деньги пытаюсь издать свою книгу, которую 20 лет писал в городе Мегаполисе на улице Стойсторонилуны в издательстве Рыба. Есть ли что-нибудь крепче памяти у истории христианской цивилизации?

Навна Мятновна сказала, спектакль «Сторож» в театре «Около» про то, что все трое квартиростьёмщиков - бомжи. Один должен построить свой сарайчик и тогда. Другой должен добраться до своих документов в прошлом, потому что без них никуда в будущем. У третьего широкий бизнес, потому что он чувствует в себе большие возможности. И всё блеф. Но разве это абсурдно. Это просто жалко. Я сказал, но это же просто здорово. Кто сказал президенту, что он президент, что он знает про пользу общества? Кто сказал бомжу, что он бомж, что он знает про конец света? Кто сказал Навне Мятновне, что она Навна Мятновна, её муж Леон, который посылает эсэмэску по мобильнику с дачи, «моркву посадил, готовлю почву под авокадо». Пьёт, наверное.

Все живут

Все живут. Дерево живёт так. Оно роняет жёлуди и обрастает кольцами. Жилин Анатолий Борисович живёт так. Он пьёт пиво возле метро и хмыкает на слова Костылина Ивана Амирановича, что он в субботу не выйдет, болт им с резьбой. Дворняжки живут так. Они сворачиваются кольцами, чтобы не было выступов, потому что трава уже ломается по утрам. Земля в целом живёт так в этой местности. Что у нас здесь теперь туманный Альбион. Люди рациональные, климат влажный. А я, а мне как жить? Улицу не переходить в не установленных местах? Не забывать свои вещи в городском транспорте? Выбирать своё будущее, А. А. Поделкова, на выборах в местный поссовет?

В 40 лет я живу так. Верить жизни я не могу, потому что место перед строем и место в строю меня одинаково не устраивает. Не верить никому я не могу, потому что люди сами не знают себя. Поэтому я живу так. Как жили знакомые покойники. Петя Богдан, учитель и врач. Людей лечил и книгу писал, как прожить 150 лет. Себя простить, на мостик стать и спать уйти от интеллигентского противостояния, тварь ли я дрожащая или право имею. Недавно отмечали его сорокалетие. Мама, Янева Валентина Афанасьевна с калоприёмником на животе после

вырезанного рака, собирала бутылки в местном парке и говорила сыну, когда он приезжал, к смерти готова, но всё же, ещё пожила бы. Антонина Мельник, писатель, поэт, редактор газеты «Соловецкий вестник» на острове, ничего не бояться и всё понимать, чтобы быть готовым к тому, к чему быть готовым нельзя. Историк Морозов, корабль, время прощает, а место прощается. Капитан Останин, корабль, мы должны потщиться и рисковать, потому что от нас останутся дети и новое. Майор Агафонов, посмертно реабилитированный, человека нельзя сломать, если он сам не сломается.

Папа, Янев Григорий Афанасьевич, я кофе пил последние 4 года, каждое утро, по турке, по две, потому что моя работа была - публичность образов, литература обличков, а потом перестал, потому что желудок посадил и где-то неделю не пил. А потом я не мог стоять, лежать, сидеть, идти. Я думал, я заболел раком всего. А потом я понял, вот это да, у меня же ломки, что кофе бросил пить. Если бы я пил или кололся, меня бы уже не было, слишком внятная наследственность. Янев Григорий Афанасьевич, папа, врач, книгочей, поэт - самоучка, жменю таблеток съедал, пивом запивал и делался как тряпочка, у него начиналось счастье. Фарафонова Пелагея Григорьевна, бабушка, про меня собаки брехали и те перестали, Бог живёт под лопухом, поэтому космонавты в космосе его не увидели.

Арлекины, Пьеро, Квазимодо, Гретхен, ангелы, Мальвины, Наполеоны, эльфы.

Всё можно было делать, а ты ничего не делал. Отчаяния быть не должно, потому что. Грузчиком на подхвате, писателем земли русской, читателем Достоевского, Гоголя, Пушкина, Толстого, Софокла, Шекспира, Данте, Платона, Геродота, Кафки, Беккета, Джойса, Добычина, Хармса, Шаламова, Мандельштама. Вспоминать события этой осени и зимы, актёр Максим Суханов, художник Хамид Савкуев, режиссёр Кама Гинкас, театр «Около», редактор германского русскоязычного журнала, который своих юродивых авторов любить должен для обратной связи, Антигона Московская Старшая и Антигона Московская Младшая, бабушка и внучка, поющие песню Акеллы на скрипке, потому что ты обосрался маму причастить и исповедать. Жена Мария, дочка Майка Пупкова, тёща Эвридика жестикулируют мне истерично, пока я записываю в тетрадку.

«Вчера Мария готовилась в лицее к приходу проверяльщицы для разряда. Вырезала фотографии поэтов, убиралась на полках, вычерчивала график генезиса успеваемости фатальной детей генералов и банкиров. Вошла уборщица, спросила, это Ахмадулина, раз с сигаретой? Нет, это Цветаева. У неё, вроде, лицо круглое. Разное везде. А вы не знаете поэтессу Ларису Васильеву? Нет, не знаю. Дочка почитать просит. Стала рассказывать, поток сознания. Дочка лежит в больнице, рак крови, 30 лет, двое детей, 8 и 10, протянет ещё 2 года, сказали врачи, муж на 40 лет её старше, нетяг. Мужа избили в арке наркоманы, делали трепанацию черепа, он всё видит, называется «кошачье зренье». По ночам читает историческую литературу без света, врач сказала через полгода пройдёт. Обложит себя газетами и поджигает, отбивается от медведей и рысей. Меня недавно душил, я сказала, обидно так умирать и оттолкнула его ногой. Может, заметили, меня 3 дня не было. Сыну жена не хочет рожать ребёнка, говорит, ты мало зарабатываешь, она же не знает, что он каждый месяц отдаёт 10000 на детей сестры. Муж на пенсии, работать не хочет, говорит, мне запахло с высшим образованием работать швейцаром. А мне с двумя высшими образованиями в трёх местах уборщицей каково. Муж станет возле окна и целыми днями матерится, ни слова по-русски, хоть раньше до болезни, ни буквы за всю жизнь. Я говорю, дочка, приворожил он тебя, что ли. Ходили с сыном к знахарке, хоть бы чуть-чуть помогло. Он, говорит благородный, а какой он благородный, если она у него четвёртая и в квартире не прописал. Закончила психфак МГУ, в Финляндии делают операции по переливанию крови с заменой больных лейкоцитов. Врачи говорят, надо бороться, а она не хочет бороться, стала белая как простыня, это всё из-за него, умом понимаю, что неправда, а сердцем не могу. Говорю, в постели он так хорош, что ли? Она говорит, что ты, мама, мне этого давно уже не надо. Ведь у меня их трое фактически, на мне, внучка уже сейчас говорит, заberi меня от них, рисует необыкновенно. Внука взяли в школу при Гнесинской консерватории, говорят, абсолютный слух, не знаю, в кого. Так хорошо жили, за что нам это».

Мария говорит, как в книге и в телесериале, я думала теперь так не бывает, а сама думает, может, обманывает, сумасшедшая? Говорит, тебе надо залезть в сарай, у нас там несколько коробок с

исторической литературой плесневеют, Ян, Дрюон, Дюма-младший. Надо найти эту Ларису Васильеву, говорит. И всё сразу становится на свои места. Было родительское собрание в этот же день, приходили мамы разгильдяев, а она им - отличные дети, пусть стараются, на четвёрку. Всё хорошо, все хорошие, ничаво, малай, как Платон Каратаев в юбке. А недавно была истерика, что муж не любит. Я говорил, с жиру, всё счастье. Тебе Вера Верная на острове Соловки ночью в лесу на рыбалке рассказала с подосиновиками в руках, предательства не бывает. Да, да, всё правда. Последнее, что хотел сказать, Максим Суханов, режиссёр кама Гинкас, германский редактор русскоязычного журнала, театр «Около», художник Хамид Савкуев, Арлекины, Пьеро, Квазимодо, Гретхен, ангелы, Мальвины, Наполеоны, эльфы из глины художницы Погорелых на вернисаже, Достоевский, Толстой, Пушкин, Гоголь, Данте, Софокл, Шекспир, Платон, Геродот, Кафка, Джойс, Беккет, Добычин, Хармс, Шаламов, Мандельштам. Пока жена Мария рассказывала про то, что всё счастье, кошка Даша сидела напротив кухонных часов вплотную и следила не отрываясь за красной секундной стрелкой.

Пингвин

Максим Максимыч, преподаватель лицея, должен друзьям полторы тысячи долларов США за съём двухкомнатной квартиры, 300 евро в месяц, на одной лестничной клетке с трёхкомнатной квартирой родителей, чтобы не отчаиваться запивает всё сильнее, чтобы не думать играет с физруками в преф. Его жена Бэла в минуту раздраженья говорит, кажется, я поторопилась. Их сын, Серёжа Фарафонов, прочёл всю мировую литературу, теперь читает по второму разу.

Катерина Ивановна, преподаватель лицея, репетитор у подростков, зарабатывает 8 тыс. рублей, кормит три семьи, дочки - близняшки, мать, сестра в институте, отец закодировался. В дочками в детстве играла в «Мастера и Маргариту» по ролям, знает все стихи одногруппника наизусть, влюблена в одного актёра одного театра, всё время ждёт чуда. Девочки выросли, когда она им, «где вы были вместо школы?», глядят отчуждённо в глаза, как умеют только подростки, потому что ещё не подставляли и не подставлялись и говорят, «какая разница».

Фонарик, учительница в школе, зарабатывает 6 тыс. со всеми надбавками, на эти деньги живут с дочкой и тётшей, муж два года назад умер, инфаркт миокарда, тётша не помогает, все деньги высылает сыну в Чернигов, дочка стесняется с мамой вместе идти по улице в школу, говорит, сначала ты, потом я.

Мария, преподавательница в лицее, зарабатывает 8 тыс. в месяц, даёт мужу Никите 1,5 тыс., чтобы купил подарки на 8 марта, ей, дочке и тётше, муж пишет, как наркоман, 20 лет и один раз заплатили за длинное стихотворенье про бессмертье в 2000 году 600 рублей. Муж покупает кожаную сумочку с городским пейзажем маслом за 600, авторскую вазу из керамики за 500 и арлекина из глины за 500.

Знакомые отдадут пингвина в хорошие руки. Жена сказала, или пингвин, или я. Питается крабовыми палочками, купается в ванной, надо выгуливать. Представляю себе себя с пингином в Старых Мытищах. Гвоздь программы. Границы мира расширились. Мягкую мебель привозят из Владимира на заказ. В овощном магазине продаётся плод фейхуа. На лето в Германию, Голландию, Австрию к родственникам из Самары в гости. С пингином мимо помойки на прогулке. Пингвин роняет небрежно на бомжей, роющихся в ящиках для отходов в поисках цветных металлов, пустых бутылок и съестного, «позасирали тут».

Хозяин

Потом будет ещё, а потом будет ещё, и в конце концов тоже что-то будет, поэтому хочется просто смотреть и слушать, получать удовольствие, как говорит богема, что ты на пенсии по инвалидности у всего этого за пазухой созерцанье. Наверное, это и есть старость. Правда, её ещё заслужить надо. Красивые девочки и умные мальчики рисуют картины на пленере и пьют пиво в баре. И всё это на берегу Северного Ледовитого океана на острове Большой Советский в посёлке

Рыба. Девочки рисуют разрушенные и восстановленные избы, часовни и кремль, это их классы, но интересней им другое. Одним интересней море и небо, острова и линия горизонта. И как одно переходит в другое за линией горизонта, и органичный переход красок от чёрного до белого и обратно. Другим интересней, что внутри и снаружи интересней только если человек есть, особенно местный, который как рыба плывёт в воде зелёной по посёлку и разговаривает сам с собою.

А если со спины видишь и если интеллигент или турист наблюдает, то сразу видно, что он идёт с земли на небо. Поэтому они рисуют интеллигенции и дна лица, часто это одно и то же. Администрацию они не рисуют. Мальчики наливаются пивом в баре на берегу моря и думают про то, что, конечно, за то что я срался в прошлом году с полковником Стукачёвым, кто больше родину-мать любит, голову открутить мало. А в этом году он умер, короче, на хер я нужен. Я думаю про то, что девочкам надо рисовать головы и фигуры пьяных мальчиков в баре с миллионлетним морем за спиной, тысячетным посёлком Рыба, уходящим в небо, и мукой деторожденья в глазах, наполненных недетскою тоскою, когда лет в 40 на пенсии по инвалидности в старости с эпилептического бочку мы понимаем, что все бездетны, много раз рожалые и бесплодные. Над островом летит хозяин, на которого многие обижаются, что он попускает фарисейство, фашизм и многое другое и плачет, как же это, блин, красиво.

Бог, Бог, Бог и бла, бла, бла.

Вчера я ехал на пригородной электричке имени Вени Ерофеева «Москва-Петушки» за своей собакой Блажей, которая жила полтора месяца у Катерины Ивановны, пока мы на Соловках и на Селигере. Передо мной сидели три юных прекрасных пятнадцатилетних нимфы-наяды, а сбоку три леших, которые разговаривали так: он, бла, тру, бла, тра, бла. Я сразу вспомнил свой рассказ, в котором я пишу про то, что весь язык переводится так: Бог, Бог, Бог. Только у них получилось - бла, бла, бла. В общем, было неудобно перед нимфами, потому что. Потому что для пожилого мужчины женская чистота символ божественности жизни. Но это армейское чмошное чувство: что, ты можешь как Христос всё время? Не можешь, так заткни язык в жопу. Мне кажется, население про это знало. По крайней мере на платформе «Чухлинка» по глазам было видно у пассажиров всяких, пожилых и юных, что работяги с речью урок, их никто не остановит, хоть всех их бла, бла, бла, вместо Бог, Бог, Бог задевает. Потому что закон зоны пусть лучше побеждает, чем закон государства. «Ах, если бы ты был холоден, не говорю горяч, хотя бы холоден, но ты тёпел, изблюю тебя из уст своих», ангелу Лаодикийской церкви ангел Господень.

И никто не хотел в изблёванном языке находиться, в котором вместо Бог, Бог, Бог - бла, бла, бла всё время. И все находились, потому что никто, кроме Христа не мог как Христос всё время. В армии по этому поводу у меня съехала крыша. Потом я пытался строить: дружба, любовь, вера, стихи, эссе, проза, семья, страна, мама. В общем, единственный выход, который никогда не выход, как в армии сбегал из учебки тырить газеты из почтовых ящиков у гражданских и читать ночью в туалете в каждой строчке газеты «Правда», в которой всегда неправда, что жизнь прекрасна.

И вышел в тамбур, там разговаривал с дядечкой и собакой Блажей про то, что у дядечки маленький сынишка, который очень хочет собаку. Но дело в том, что он 3 недели в месяц по командировкам, а сынишка один. Какую породу я порекомендую как опытный кинолог? Я сказал, из крупных эрдели, колли и боксёры могут быть няньки. Но боксёр может порвать, если ему покажется, что маленького хозяина кто-то обидел. Лучше посоветоваться на птичьем рынке, правда, на птичьем рынке делают так, говорят, «вам с родословной или без родословной, с родословной - 500, без родословной - 300», про одну и ту же собаку. И так: ты говоришь, чиж-шегол сиделый? Продавец отвечает, сиделый. Ты говоришь, на выпуск? Он отвечает, на выпуск. Про одну и ту же птицу, хотя это ещё более разные вещи, чем слова да и нет в языке, сиделая птица на свободе гибнет.

И ты понимаешь, от Христа и в тамбуре не убраться. И отвечаешь, а лучше всего подобрать дворнягу и воспитать джентельменом. Она от благодарности станет человеком и у вашего сына всегда будет товарищ в играх во время ваших долгих отлучек.

20 лет я этим занимаюсь, стихи, элегии, оды, эссе, статьи, трактаты, рассказы, повести, романы. Первые 10 лет я не пытался даже что-то напечатать, потому что считал, что ещё «не стал большим», как говорил индеец Швабра у Кена Кизи в «Кукушке». Но дело не только в этом. Главное в традиции страны. Три поколения она жила литературой, которой не было на свете. Литература была род церкви. Можно даже сказать, что она победила церковь, потому что церковь была корыстна, она сотрудничала с властью. Нельзя сказать, что эта аскетическая традиция мне не подходит. Нельзя сказать, что она меня не убила. Наверное, я к ней был подготовлен от папы и мамы. Мама, завет 33 русских поколений, 30 лет смотреть в одну точку, стоило или не стоило рождаться. Папа, который с византийским царём Александром Македонским перепутал несчастье и счастье. Москва, в которой я надёжно на 20 лет от себя самого укрылся, услышав аканье которой, понимаешь, почему русские дошли до Канады.

Что дальше? На деньги покойницы мамы я издал книгу и все сказали, что я автор, книга продана. Толстые журналы делают вид, что они неживые, им так прожить способней, а везде по миру открываются русскоязычные журналы. В деревню Млыны на границе трёх областей, Тверской, Псковской и Смоленской, глухой медвежий угол, где живут медведи, гиппопотамы, слоны, рыси, ангелы, драконы, носороги, коровы и маленькое животное, счастье, местный пастух, алкоголик, бомж, романист. И семья Меннезингеров на лето из Австралии приезжает, хоть каждый раз после перелёта у Меннезингера микроинсульт, потому что концы какие. Соловки, остров, где наши дедушки наших дедушек скучали расстреливать, привязывали бирку к ноге, умрёт и так, и он начинал светиться, а наши дети говорят, нас прёт от Соловков. Шведские, французские, испанские, датские, американские, итальянские, немецкие, японские, канадские туристы снимают на мультимедиааппаратуру помойку и лица местных бомжей, потому что это не стиль фэнтези, а богословская правда жизни, если ты хочешь всё приобрести, умей всё потерять. Что дальше?

По Ярославке соль земли русской, гастрарбайтер из ближнего зарубежья Платон Каратаев в «Камазе», Родион Романович Раскольников, урка, менеджер по доставкам, в «Газели», Павел Иванович Чичиков, мёртвая душа, новый русский, директор фармацевтической фирмы «Щит отечества» в «Джипе», несутся. Им навстречу за рулём рефрижератора «Вольво», до верху набитого водкой «Путинкой» сиреневый оранжевый закат рыло в рыло. В кабаке ланцелот и дракон который век квасят, дракон стучит лапой по стойке, залитой пивом и чем-то клейким, «да как она смела, ведь я её и так и так имел». Ланцелот, поигрывая трицепсами на затылке, «тусовка видит тусовку, а нетусовку она не видит, то же самое с нетусовкой». Принцесса видит любимый народ. И тут у ланцелота у самого с пива начинается истерика. А народ, а что народ, народ таких принцесс сто миллионов семь нарожать может, лишь бы уровень жизни был достойный. «Во всяком случае на год они от тебя откупились, Бонифаций». Земля уже поседела, а они всё квасят. Дракон всё так же вылезает из одежды, что он её ненавидит, а она его даже не видит, хоть от неё даже скелета не осталось. Ланцелот плачет, «Бонифаций, понимаешь ты хоть что-то в этом дерьме, почему каждый раз вешается Иуда, а потом воскресает Спаситель»? Дракон сразу остывает, «ну ты даёшь, Ваня, мы это на ОБЖ проходили». Иуда понял, что он ему брат, а он ему не брат. «Брат, брат», кричит ланцелот дракону и лезет целоваться. Тот брезгливо отодвигается, достаёт дезодорант-гель «Санокс», и говорит, «ну что, ещё по паре и на войну»? На горе стоит принцесса с поднявшимся животом, до которой ни тот ни другой не докоснулись, на небе одна звезда, самолёт из Шереметьева в Канберру.

2004-2006

Часть 5. 1 + 1 = 1

Чинганчбук

«Под небом голубым есть город золотой».

Б. Гребенщиков

«Над небом голубым есть город золотой».

Хвост

Рассказ можно написать, только если он написан. И не то, чтобы в мозгах, или голове, или жизни, на старых фотографиях, в письмах, теме, эпитафье, названье. Вот, у меня всё готово. Эпитафья два. Гребенщикова, под небом голубым есть город золотой. Хвостенко, над небом голубым есть город золотой. Тема, что мы двойники друг друга, как на Индрычевой статуэтке, где два монаха борются друг с другом, а головы у них как две капли, перетекающие друг в друга. Название: Чинганчбук, индеец, сверхчеловек, подстава.

Нет, дело в том, чтобы этот герой жизни захотел пойти в подставу, на листок тетради. Сначала ему нравилось нравиться, потом он любил любить, потом стал бояться бояться. Когда друга раздели колпачкисты во времена финансовых пирамид и фразы, что такой шанс бывает раз в сто лет, он сказал, опергруппа на выезд, и просидел год в Бутырках, потому что это была не его территория. Как за мамой в парке в чужом родном южном городе Мелитополе через десять лет ехал подросток на велосипеде, «это моя территория сбора бутылок». Мама собирала берёзовые почки, семена липы, стручки акации, заодно бутылки. А я не мог ей помочь деньгами, потому что моя работа, как сказали критики, редактора, журналисты, министры, кормящиеся этим, «русская литература умерла». Что это значит? Это значит меня нету, моей жизни, работы, моих денег, моей помощи ближним. И только благодаря женщин-парок, жены, дочки, мамы, тёщи, эпилепсии, мономанства, папиных ломок, страны, в которой быть скопцом легче, чем тайным христианином...

Когда начальник фирмы ему сказал, «этот мне должен, выбьешь из него деньги, будет квартира». Когда через десять лет арестовали и он подумал, какое счастье, камень с души свалился, не могу больше бояться. А я подумал, когда мне об этом родственники доложили, ну вот, ещё один двойник объявился в твоих тетрадях, не смотря на то, что русская литература мертва, как сказал мне по телевизору министр культуры. И стал готовить тему, эпитафья, названье. А там как Бог даст. Захочет ещё один этот герой жизни вслед за остальными, которые описаны в семи романах, пойти в подставу тайным христианином, пока скопцы во главе с Иваном Грозным его строят по уставу гарнизонной службы. Веры две, как у Гребенщикова и как у Хвостенко. И Бога два. Бог и скоморох Бога. А то, что один слизнул у другого и переделал под свой размерчик. Как говорил Иван Грозный: кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого, так я первый буду. А то, что скопцы в цари не ходили, чтобы не перепутать, где город...

А там как Бог даст, захочет ещё один этот герой жизни, Чинганчбук, вслед за остальными, которые описаны в семи романах, пойти в подставу. Как его двойник Финлепсиныч Послеконцасветыч Генка потерял паспорт, а Чинганчбук нашёл и наклеил свою фотографию, чтобы скрыться. А его жена Антигона Мария Муза сказала, хоть на что-то это чмо сгодилось, потому что очень устала. А он написал рассказ про это в Иностранной библиотеке и пошёл сбрасываться с крыши соседней многоэтажки, а там (центр) к этому времени (середина девяностых) уже стояли домофоны на всех подъездах. И тогда он ушёл из дома и на Ярославке в два часа ночи как откровенье - запертая церковь и патрульная милицейская машина, что выхода только два, как у Гребенщикова и как у Хвостенко. То вернулся, проработал полтора года на частном заводе, потом полтора года прожил на острове в море, в 4 километрах от посёлка, Ботанический сад Хутор Горка. Остров, где раньше был самый красивый монастырь, а потом самая страшная зона. А потом вернулся и стал писать свои романы. А его призвали в прокуратуру и сказали, что вы делали на Шереметьевском вокзале? А он ответил, я не был там ни разу в жизни. И понял, что все эти десять лет Чинганчбук жил по его документам. Короче, подстава и засада. И обосрался. А потом ничего, вспомнил маму, папу, свои романы, женщин-парок, свою работу, зону, общину, героев жизни имярек. И подумал, ещё один двойник объявился. И подумал, наконец-то меня арестовали, надоело бояться. И подумал, вчера царь, сегодня царь, эх, скукота. И подумал, над небом голубым есть город золотой. И подумал, это эпитафья. Тема, что мы все двойники друг друга, как у Гриши на статуэтке. Мало того, что в пространстве, но даже во времени. Если мы не сделаем эту работу, то нашим детям отдуваться. Как мы стояли в семидесятых в очереди за жувачкой, которую выплюнет Эдип Мелитопольский, у которого родственники в Америке и они

ему шлют жувачку. Тогда следующий в очереди сходит, помоеет и будет дальше жевать жувачку. Потому что дети доводят до абсурда смысл мира взрослых, но ни в чём не искажают. Как главное у нас сделалось лишним, а лишнее главным. Потому что их папы и мамы решили жить для благополучия в обществе развитого социализма, и стали наркоманы и одинокие. Потому что их папы и мамы все тридцатые и сороковые выживали любой ценою.

И подумал, рассказ можно написать только если он написан. И подумал, рассказ можно написать, не когда автор готов, эпиграф, название, тема, а когда герой рассказа сделал жизнь искусством, зону общиной, скопцов тайными христианами, воскликнул, как герой одного мультфильма, лучшего анимационного фильма всех времён и народов, который мы весь растащили на цитаты, пока автор мультфильма сидел в психушке, русская литература мертва ведь. «Ыгы, вот именно. Чё-то я и сам какой-то маловатый».

Ася Чуйкина

Сначала семидесятые, это когда военные моряки на острове, почти все - мои земляки из Приазовья, становились рыбаками и крестьянами.

Потом восьмидесятые, это когда Соловки облюбовала интеллигенция. Крыша - музей. Художники, историки, биологи, реставраторы, водолазы, ремесленники, писатели, поэты.

Девяностые - собственно плод, цепь самоубийств, голод, разруха. Все, кто мог сбежать, сбежал. В то же время, на земле всегда проживёшь, потому что грибы, рыба, ягоды, картошка. В магазине: хлеб, сигареты, соль - сахар, водка. Было время, и на них не хватало.

Тогда-то я и появился с Мариной и Аней, приехали сторожить Хутор на лето от местных, таков был обычай, свои бы не стали. После завода, после книги стихов и книги прозы, после попытки самоубийства, не моей, но по моей вине. Потому что говорил правду. Не всегда можно говорить правду.

Но дело не в этом. Я не сразу понял. До меня всегда туго доходит. Даже когда через год в девяносто восьмом остался на год один в лесу сторожить Хутор, не видел, ни красоты, ни общины, ни мучеников прозрачных, ни святого места. Видел только свою вышку. Потом постепенно понял, когда расставаться начал. А теперь на стены лезу, когда потеряли. Не только я, а все, потому что православный туризм это другое. Это как в Венеции и на Шри Ланке, выпить и закусить. На Соловках всегда пили, очень пили, но я не про это. Я вообще про другое. Я про Асю Чуйкину. Просто пока разогрелся, исписал три страницы. Правда, без вступления непонятно. Про Асю Чуйкину рассказывал Гриша, видно, что был немного влюблён в маму, в дочку, в их судьбу и искусство, которые могут не состояться, и это жалко. Так рассказывал Димедролыч про молоденькую художницу, в его сторожке всегда за лето перебивала не одна компания художников, пока он на Зайчиках. Я говорил, художническая община не менее мощная на Соловках была, чем рыбацкая или православная. Что только её работы ему интересны и жалко, если потеряется. И непонятно, чего там больше было, чуда или корысти, наслаждения телом или наслаждения красотой.

Короче, Соловецкие мужчины очень духовны, рыбаки, мореходы, художники, алкоголики, урки, работяги. Это как на Красной Пахре на плотине на втором курсе на картошке над стометровым обрывом я понял, что бездна затягивает, парализует неведомой красотой, что у тебя нет своей воли, никогда не было и не будет, только покорность чуду, оно всё сделает как надо. Поэтому русские так неподвижны и так терпеливы, всё равно мы ничего не решаем. Поэтому Соловецкие мужчины столь духовны, которые всякую фразу начинают с «ёбт», как толстый сержант в Мытищинском отделении милиции, запахло, всё запахло. Одно другому не противоречит, я без прикола. В мире завелась какая-то порча ещё до нас, и мы вынуждены с этим считаться. Приносить образ пола от сверхчеловеческой гордыни до простого восхищения чудом, когда ты служишь, а получается женщина, вино, государство, дети, красота, счастье, и наоборот, война, ненависть, драка. Так вот зачем меня в армии били?

Мама вышла замуж за водолаза. Приехали из Москвы или из Питера, он пил и был очень талантлив. Погиб. Дочка рисует необыкновенно. Полный набор Соловецкого мифа. А, забыл, мама

занимается литературой. Дальше продолжение, любили друг друга так сильно, что не смогла остаться, уехала в Москву, вышла замуж за американца, чтобы обеспечить дочери будущее и увезла в Америку. Теперь Гриша ждёт продолжения Соловецкого чуда, не очень-то в это верит, ищет имя в Интернете и хранит детские рисунки, которые, конечно, мастерские, но я в них ничего не вижу. Так же, впрочем, как Димедролычево восхищение картинами молоденькой художницы из Питера меня не убеждает.

Мне дороже Анькины картины, когда она рисовала дерево и лошадь, море и чаек, солнце и яблоко на тарелке, или просто рыбу, в три года, и в этом было чудо, как писали древние иудеи на каждой странице Ветхого Завета - страшно. Красота это страшно, потому что такая ответственность, что лучше уж пить всё время, чем соваться.

Вера Верная или национальная идея

Люда Вераокова очень похожа на Героиничиху. Московская Антигона Героиничиха стареет. В меру тёплая, а внутри холодная. Поэтому придумала солдафонское занятие, одна - фирму, а другая - дом. Я так говорю, потому что у меня перед глазами другой образ - Веры Верной. Даже крыша перестала течь на веранде, чтобы я написал про неё. На самом деле, чтобы я сложил молитву, чтобы понял, что надо подрабатывать (грузчиком в фирме), иначе получается не по-настоящему. Потому что пошёл дождь, весна, и ледяную пробку смыло, и вода перестала подниматься вверх по скату, и стала течь вниз по скату.

Вицлипуцль, учитель, что он преподавал у них там во Владимирском пединституте, то ли философию, то ли что ещё, главное, что они положили глаз друг на друга. А ему за тридцать, а ей нет двадцати. А у него семья, тогда с этим строго. Она очень живая, он немного талмудист. Короче, презрели законы, поженились. Соловки привечали выроdkов, как потом скажет Димедролыч, будет работать в фирме у Героиничихи и меня позовёт, когда дружили, а потом раздружимся. Раздружимся, как раз по этому поводу, кто урод и кто нормальный, что всё наоборот.

И здесь самые главные такие как Вера Верная, моя жена Мария, вторая жена Миши Жемчужных, которая родит от пьяницы и станет его сиделкой, Оля Миллионщикова, которая родит от наркомана двоих. Потому что некрасивые, скажут красивые первые жёны, когда увидят, что их мужья тонут и разведутся. И здесь самые главные такие как Соловки, которые привечали выроdkов, как скажет позже Димедролыч. Пары, которые не могли родить, таких там очень много. Запойных, политически неблагонадёжных, сумасшедших, писателей, художников, мореходов, ремесленников, подпольную вольницу восьмидесятых.

Соловки - место постсуицидальной реанимации, говорил Димедролыч с презрением, а я думал, он очень любит банальность. Так Вицлипуцли оказались на Соловках, его, по-моему, из партии исключили, за то, что развёлся и женился на малолетке. Родили четырёх, у меня есть генетическая теория, когда сильнее мужчина, рождаются девочки, когда сильнее женщина, рождаются мальчики. Сильней, в смысле, по жизни талантливей, одарённее, юродивее, одержимей, что ли. Короче, больше лишнего, больше по-настоящему. У Вицлипуцлей было сначала две девочки, Ляля и Лёля, а потом два мальчика, Саам и Ирокез. Когда мы попали на Соловки с Аней и Марией по поводу моей постсуицидальной реанимации, мы очень подружились.

Недавно я был с Катериной Ивановной в театре «Около», там давала спектакль труппа с синдромом Дауна. Спектакль «Капитан Копейкин». Финал, Русь, Русь, куда несёшься ты, дай ответ, не даёт ответа, над кем смеётесь, над собой смеётесь, устами даунов, по задумке режиссёра, и так далее. Я не про это. Театр называется, театр простодушных. Вот это сильно. Я когда говорю, на Соловках была община, хоть в монастыре были гаражи, а теперь там настоятель и музей-заповедник, а на самом деле православный курорт, куда интуристы и отечественные тоже ездят выпить и закусить.

Я когда говорю, на Соловках была община и я её застал краем. Я всю жизнь за чем-то гнался, за какой-то воплощухой. А кто может сказать, что он имеет в виду под счастьем? Только солдафоны. Да и те себя не знают. И вот в тридцать три на Соловках я всё-таки догнал, коснулся краем того, за

чем всю жизнь гнался. Конечно, Соловки не были раем, обычным советским, а тогда постсоветским местом, что ещё страшнее, и временем поедания собак и эпидемии самоубийств. 90е годы, в столицах бандитский беспредел, в провинции голод. Но я говорю про другое. На Соловках собрались простодушные. Они все как один были учителя. Вицлипуць, Димедролыч, Гриша, Гена, Ма, Вера Верная, Мера Преизбыточная. Я писал про это в рассказе «Дезоксирибонуклеиновая кислота», мне сейчас интересней другое.

Я недавно перечитывал письма, от Вицлипуця, от Веры, от детей Аньке и думал, ладно, я мужчина, и это вполне нормально, что мне больше нравятся женщины, мужчины для меня, или враги, или земляки. Но почему так кажется, что и Вера Верная, и Лёля, и Ма, и Мера Преизбыточная, в разных периодах возраста, юности, зрелости, старости, Антигоны Соловецкие, за неимением учителя рожают Христа, этого самого простодушного, который как мальчик в театре даунов, совсем не похожий, красивый, высокий и нервный, к тому времени как уже вежливо отхлопали и стали выходить, выбежал на сцену и припадочно заламывая бесконечные руки, стал рассказывать про спектакль, про репетиции, про себя, про даунов. Что всё только начинается, что только теперь-то и становится интересно, что не нужно ждать с пустым отсутствующим взглядом свою реплику, а говорить, говорить взахлёб. Как дети думают, что они это жизнь в припадке великодушия и вдохновения. Потом их научат в школе, во дворе, в институте, в армии, на работе, в семье смирению. Зрителям ужасно неловко от такого смешения жанров. Жалко несчастных даунов, но спектакль закончился, надо уходить домой.

Так в деревне Белькова, Стрелецкого сельсовета, Мценского района, Орловской области приезжавшие из Мценска к местной проститутке парни учили меня ногами в живот в 11 лет, осталась метка, отбитый кусок зуба. Я потом написал целую книгу, отсылаю к ней, философский трактат «Дневник Вени Атикина 1989 - 1995 годов». Она тоже нигде не напечатана. Глава называется «Про голяк». В ней я объясняю на частных примерах и так, что если сначала голяк, а потом сплошняк, то славняк не нужен. Если сначала славняк, а потом голяк, то сплошняк не нужен. Национальная идея.

Мария

Мне сегодня показалось, что я теряю Марию. Как я потерял маму, Майку Пупкову, Димедролыча Перильстатика Вишну, Соловки. Мне стало страшно. Я провалился. С чем же я останусь? Было так. Я ушёл из института, помыкался по работам, сидел с трёхлетней дочкой, писал книгу. Стихи пишет, говорили соседи в Мытищах. Художник, говорили местные на Соловках.

Что это было такое на самом деле? Ну, на самом деле, это было то, что я понял ещё в 11 лет в деревне. Что должен быть виноватый. Что людям так легче. «Кого будем чмить сегодня». Я писал про это в книге «Дневник Вени Атикина 1989-1995 годов» в главе «Про жертву», что только жертва древних видела Бога, сами древние превращались в современных с их манией жить достойно, вот откуда Христос, агнец Божий, закланный за всех нас.

Потом в армии в восемнадцать всё только в подробностях подтвердилось. Потом в двадцать четыре я стал писать про это книгу, сидел с дочкой, она рисовала, жена работала в школе, теща считала меня во всём виноватым, развале страны, несчастье дочки, смерти мужа и была права, конечно. Потом в тридцать, когда я написал эту книгу, жена сказала, вот, надо дать шанс человеку. В этом была какая-то фальшь, потому что человек решил, что он сверхчеловек, что он никому не должен, наоборот, ему все должны. Но я себя чувствовал всем должным и вот я решил дать шанс человеку. Теперь, через восемь лет нас вызвали в прокуратуру и сказали, человек 10 лет в розыске на свободе разгуливает по вашим документам. Мы сделали удивлённые лица.

Теперь Мария сказала, с напечатанием книжки надо погодить, потому что мамины наследные деньги могут понадобиться для другого, более важного дела, сберечь нас от зоны. И я провалился. Нет, конечно, я всегда был на зоне и всегда её боялся, просто, я думал, что я выбираюсь и даже других вывести должен, а получилось, что все одиноки, мама, дочка Майка Пупкова, теща Эвридика, Димедролыч Перильстатик Вишну, Соловки. И только мы с Марией безумны, решили, что Бог это жертва. А теперь мне показалось, что я теряю последнего человека, потому что Мария

не выдержала несчастья, тогда и теперь. И я провалился. Что это такое?

Это то, зачем люди приезжали на Соловки в восьмидесятых. Это то, почему толстый сержант милиции в Мытищинском ОВД всякую фразу начинает с ёбт, запахло, всё запахло.

Нельзя жить достойно и быть жертвой. У нас получалось. Я был юродивый, Мария всё понимала. Это как, знаете, раньше возле всех подъездов в многоквартирных домах во всех местностях бывшего Советского Союза сидели на лавочке больной юноша без возраста и женщина скопческого вида без личной жизни, бабушка или мама. Он юродиво дёргался, она разговаривала с соседками.

Выбор невесты

С Фонариком мы похожи такой чертой: схватиться за большого и прожить всю жизнь потихоньку маленьким. Большой помер, Фонарик рыпнулась, что она тоже станет большой, потому что любила большого. Её теперь гнобят в банке, что не холодная, а тёплая, не мёртвая, а живая, не такая как надо, короче. Она высохла как волба, осталась одна голова.

С Катериной Ивановной мы похожи тем, что уверены до сих пор, а ведь мы уже в старость входим, любовь и любой это одно и то же. Женщине сложнее с этим проклятьем в крови прожить, то ли жена всех, то ли мученица за веру. Мужчина быстрее перебесится и станет хитрый писатель, станет сбрасывать в загробность - апокрифическую, непечатаемую литературу свои искушения, прозрения и терзанья. Женщина будет одинока среди матери, дочек, сестры, бабушки, папы, разумеется, пьющего, он ведь русский, учеников, учителей, любовников, актёров, потому что поймёт это проклятие любви, но сделать уже ничего не сможет.

Больше всего мы похожи с женой Марией такой чертой - перевоплощением. Особенно на свадебной фотографии это видно. Только у нас как бы две разные её части. Как кукловод и кукла. Как Вицлипуцль и Вера Верная на Соловках. Вицлипуцль рассказывает как надо, а Вера Верная, начальница, так делает, вожди племён вицлипуцлей и ренессансных мадонн, родивших четырёх новых вождей новых племён, только в какой-то момент вождята уклонились от вождя и вождихи и сами вожди перестали видеть цель ясно. Но это ведь не страшно. Жизнь - великое степное племя, особенно когда степь тянется без всяких административных препон от Финляндии на западе до Японии на востоке. И вот Финлепсинич с лицом тайного агента, но в душе незлого человека, шепчет Финлепсиничихе на ухо одними губами, улыбайся. Той сложно улыбаться, ей судорогой свело лицо, от волнения, что ей теперь придётся всё делать, но она улыбается.

А вообще-то мы все в одной группе учились в институте лет 20 назад. А самые благородные оказались Максим Максимыч и Бэла, тоже из нашей группы, Мария всегда плачет, когда рассказывает про них. Работают все в одном продвинутом лицее для богатых. Максим Максимыч, Бэла, Катерина Ивановна, Мария. Максим Максимыча с Бэлой и сыном Серёжей Фараоновым, который когда был помладше, насмотревшись сериалов, выбежал на середину комнаты в запале восторга и вопил: а всё равно мы бандиты, а всё равно мы русские, а всё равно пишу трогать можно, согнали родители с квартиры, потому что им вдруг стало тесно, после того как 10 лет вместе прожили. Это видно демократизация общества так надавила. Они снимают двухкомнатную квартиру на той же лестничной клетке за 250 долларов в месяц, а недавно хозяйева квартиры решили поднять аренду до 350 долларов в месяц. Максим Максимыч ведёт 30 часов в школе, а так же 10 частных учеников в неделю, чтобы расплатиться с долгами. Только специалист может понять, что это такое. Есть правда бабушки - забойщицы, заслуженные учителя России, которые и по 40 часов в неделю в 70 лет тянут. Но у них всё на автомате. Алгебра от русского языка, литература от физики неотличимы. Правильный ответ, неправильный ответ. Такая апория как в романе «Война и мир» или «Бесы», когда ответ и правильный и неправильный и что, вообще, литература самый главный предмет в школе, что-то вроде богословия в жизни, им чужда. Для этого есть обществознание.

И вот на день рождения родители подарили Максим Максимычу 10000 рублей и рассказали, что он неправильно живёт, и рассказали, как надо жить правильно, пусть он возьмёт эти деньги, которых хватит на один месяц снять квартиру, которую он для семьи снимает. И сделает уже как

надо, тем более, что только бездарь с такими деньгами не сможет этого сделать. И вот Максим Максимыч берёт эти деньги, чтобы не обидеть родителей, напивается вдребодан и плачет, а друзья ему рассказывают, что на самом деле он имеет право подать в суд на размен, потому что он прописан и у него ребёнок. Потом едет в школу и ведёт уроки по «Преступлению и наказанию». Почему Достоевский, на самом деле, не был праведником, как его теперь рисует на православных хоругвях Илья Глазунов. Потому что он был главным персонажем своего главного романа «Бесы». Если уж кого рисовать на хоругвях, то отлучённого от церкви и преданного анафеме Льва Николаевича Толстого, который первый сто лет назад догадался, что ангелы - люди. Впрочем, автор данного отрывка должен оговориться, что он приписал свои сокровенные мысли о природе творчества своему персонажу Максим Максимычу, преподавателю русского языка и литературы в продвинутом лицее в городе Стойстороньлуны, с которым он учился в одной группе в институте, чтобы его не подвергли административному взысканию в придачу ко всем прочим бедам. Жена Максима Максимыча Бэла была влюблена в автора тоже. Как сказала недавно Мария на одной посиделке, все были влюблены в Никиту, а отдуваться мне одной. Ведь автор писал стихи в то время. «Эта девушка, наши взгляды встретились, ей стало так же тревожно»?

Эльдорадо

Сюжет простой. Мы поехали в торговый центр Эльдорадо из Мытищ в Подлипки на 28 маршрутке, потому что там дешево продавались электроприборы. Пока Мария на частных учениках заработала много денег, надо было маме купить подарок на день рождения, который через два месяца, микроволновую печку, а то потом не будет. Денег как благодати всегда не хватает. Вроде ничего не купил, только хлеба и семечек, а трёх тыщ как не бывало. Потом вспоминаешь, а яблоки, а бананы, а мясные обрезки собаке, а китикет кошке, а сок апельсиновый, а окорочка, а рыба, а метро, маршрутка, электричка подорожали, а американские авторы, а черемша, а помидоры, а багет, бородинский, а шампунь «Биомама», а крем «Биопапа», а пирожное «Ева», а мороженное «Лакомка», а сигареты, а дискеты.

В торговом центре Эльдорадо девочки и мальчики от скуки за 9 тысяч в месяц были рады посмеяться любой несообразности, мужчине, не умеющему покупать, женщине, уставшей после работы смертельно. Поленились вскрыть, проверить, заполнить гарантийный талон. Через три города, Мытищи, Королёв, Подлипки пришлось возвращаться второй раз. От скуки били в стиральные машины ребром ладони, отработка удара, извинялись, что забыли. Как можно забыть, если у 20 человек, кроме регби по телевизору, больше нет другой работы: вскрыть, проверить покупку, заполнить гарантийный талон.

Я подумал, говорят антифашистские режимы наступают, потому что нет ясно выраженной цели - мировое господство или преодоление гордыни смиреньем. Неправда. Антифашистские режимы наступают от незаработанных денег. За те же деньги из грузчика в одной фирме выпьют все соки, с 10 утра до 8 вечера. Тонн 5 разгрузит и загрузит, оклеит тыщ 10 наименований товара значками фирмы, соберёт товар на следующий день на развозку, рассортирует привезённый товар. Ещё о него ноги вытрут, если кто-то из многочисленных старших захочет интриговать или настроение плохое.

Он будет ехать в метро, электричке, маршрутке домой, заглядывать в глаза ренессансным мадоннам, постсуицидальным реанимациям, подставляющимся, подставляющим, халтурящим и думать, какие они красивые. Словно он внутри у снаружи. Словно они снаружи у внутри. Словно им видно его мысли. Словно у них смерти не будет, потому что он устал очень.

Любовь

Пока мы занимались любовью, над Москвой пролетали гуси. Кричали тонкими голосами, чтобы не потерять друг друга. Соловей защёлкал и бросил, видно прилетел только сегодня, примеряясь к одной из трёх яблонь в палисаде. Кошка Даша запрядала ушами. В прошлом году в форточку

притащила мёртвого соловья. Я пошёл в туалет ночью и наступил ногой на птицу. Очень хотелось избить благодарную тварь, принесшую хозяевам гостинец. Так увлёкся любовной песней, что не заметил, как снизу смерть подкралась в виде стерилизованной кошки Даши.

Это получилось не нарочно. Я подобрал её на платформе с огромной грыжей. Врачи, когда вырезали, задели женские органы. Собака Блажа заблажила спросонок, как трёхмесячная дочка, которая вообще не спала ночью, мы ругались, чья очередь вставать, теперь подросток, интересно только когда про неё. Как Долохова из «Войны и мира» интересовал только один человек на свете - Долохов из «Войны и мира».

Говорят, это проходит, говорят, для этого мы и приходим, с небес на землю слетают демоны гордыни, с земли на небо слетают ангелы смиренья. Говорят, соловей может так забыться на каком-нибудь 17 колене, что умирает от разрыва сердца.

Мария везла цветы, пять белых калл. Дядечка в электричке сказал, у вас праздник? Мария сказала, да.

- День рождения?

- Нет, пятнадцатилетие супружеской жизни.

- Муж поздравил?

- Нет, я мужа.

- Так это вы ему цветы везёте?

- Да.

Дядечка обиделся.

Все благородны.

Сыщики благородны. Я знал одного сыщика, который говорил мне на допросе, не волнуйтесь, ничего страшного, потому что я боялся как Николка у Порфирия Петровича на допросе в романе Достоевского «Преступление и наказание», что я пострадать должен. И ещё одного - Марииного папу, который один раз за всё детство Марию рядом газетой хлопнул, когда она долго не засыпала, а сам, чтобы отвлечься, запивал всё сильнее, потому что начальство говорило, это дело закрывайте, середина восьмидесятых. Цеховая дисциплина, человеческое достоинство и профессиональная честь на троих бутылку белой съедали и сбрасывали в смерть нелепость. Вряд ли в 2000х или 3000х будет по-другому. Для этого и приходил Спаситель, ни цеховая дисциплина, ни человеческое достоинство, ни профессиональная честь не спасут вас от конца света, только милость.

Бандиты благородны. Чинганчбук - бандит, который в середине 90-х нашёл мой паспорт, вклеил в него свою фотографию, потому что друга раздели колпачкисты, он сказал, опергруппа, на выезд, но это была не его территория сбора бутылок. И тогда другая опергруппа эту опергруппу арестовала, и он 10 лет скрывался по моим документам, и когда его арестовали в середине 2000-х, воскликнул, наконец-то, как камень с души свалился, 10 лет, сколько можно бояться, от радости рассмеялся.

Грузчики благородны. На грузчицкой подработке в одной фирме настоящие грузчики (сыр, сметана, масло, творог), весёлые и злые ребята с Украины ненастоящим грузчикам (фотоаппараты, плёнка, рамки, альбомы) говорили, давай я, а то ты здесь до второго пришествия на рохле с полетой с дебаркадера съезжать будешь. Они-то видели намётанным глазом, что никакой это не грузчик, а писатель, госкино, совписом и ксивой совесть во время обеденного перерыва посланный разведать, как здесь любят и как здесь ненавидят. И поэтому всегда выражались литературно, на хера мне это надо, чтобы не прослыть в истории жлобами.

Начальники благородны. Богемыч, бывший двусмысленный брат, начальник жилконторы, оправдывался перед Валокардинычихой, вождыхой племени вицлипуцлей на острове Соловки в Белом море, подружкой, когда она на него кричала, вы зачем Яниных выселяете, мы каждую зиму тут ждём весны, значит скоро писатели приедут. «Они тебе что, родственники, что ли? Зачем нам дачники из Москвы, у нас в Москве нет дач?»

Димедролыч, художник, Робинзон Крузо, коммерческий директор фирмы присылал деньги, чтобы ещё остался на горе Секирной и отпел неотпетых, 175 тысяч посмертно реабилитированных по данным общества «Память», эти молодые совы, эти камеры, бывшие келии, эти казармы, бараки, короче, не может быть, чтобы всё это было даром.

Героиничиха, старший менеджер фирмы, тайная христианка, увольняет нерадивых, нанимает юродивых, начальники фирмы один раз придут из офиса на склад, а там вместо работы странноприимный дом, церковь и психушка.

Редактора благородны. Одна редактор, когда я принёс книгу «Гражданство» про то, что все благородны, только надо увидеть, ничего не сказала про то, что автор на всех наезжает, на милицию, на бандитов, на начальников, на население, на церковь, на зону, на армию, на государство. Так что не пришлось говорить, единственное, что может меня оправдать, по крайней мере, перед собой самим, это то, что больше всех я наезжаю на себя. Я у меня чмо. Если это уловка, то, без того, чтобы она получилась, вряд ли удалось построить всю книгу, что все благородны - сыщики, бандиты, грузчики, начальники, редактора и даже одно чмо - писатель.

Молящиеся

1.

Когда у тёщи Эвридики умер муж, Владимир Леонидович Барбаш, следователь по особо важным делам в областной прокуратуре, она легла на софу лицом к стене и больше не вставала. Они все в 38 умирали, болгары, украинцы, евреи, подставляющиеся, тащащие службу, за которых выходили наши мамы, русские женщины, полные блестящих ожиданий жизни, потому что русские к этому времени надорвались от сплошных терроров и войн и стали советскими, которым по барабану, кому на Лубянке поставят памятник, а потом постсоветскими, которым не по барабану Абрамович и «Челси», Галкин и Путин, Пугачёва и Киркоров.

Пришлось её дочери и моей жене Марии её мужем становиться. Меня тогда ещё не было там. Чтобы мама «отрыгнула», так бабушка Поля говорила на цветок герани в горшке, который засох, зачах, сгнил, а потом вдруг дал новый побег, в деревне Белькова, в 6 км от города Мценска, там ещё церковь 12 века как куб бетона, в которой Левша с товарищами молился блоху подковать, приспособленная под гараж.

Потом, когда я там появился, все думали, что я стану отцом, мужем, кормильцем, а я сразу стал ныкаться и писать книгу «Чмо», учебник, как стать чмом пособие, камень, отвергнутый при строительстве, стал во главу угла, и услышал другие камни, как они заговорили и сказали, пусть попробует, опишет, всё равно ему никто не поверит, потому что русская литература мертва.

Пришлось теще Эвридике становиться мамой Майки Пупковой, дочки, а жене Марии папой. А я что-то вроде старшего брата, то ли разведчика, то ли уголовника, то ли приживалки. Это тем более было хорошо, что в живой природе социальности свято место пусто не бывает. Так у тёщи Эвридики на закате появилось своё поприще передачи опыта жизни, дочка Майка Пупкова, что она ещё не нажилась. У жены Марии школа, которая вместила в себя воплощение, театр, сцену, путешествия, искусства, теплоту жизни.

А у автора этих строк - возможность видеть, что люди это времена, места, имена и мысли. Так у них получилось, что они едут в машине и пишут книгу, пишут книгу и едут в машине, что они в жизнь входят как в женщину мужчина, как жизнь в них входит как роды, наслаждение, вдохновенье. Много других вещей ещё было, конечно. Халтура, корысть, жлобство, фарисейство, война, ненависть, несчастье, государство, зона, церковь, дружба, любовь, вера. И от них нельзя было откреститься. Да никто и не отрекся особо. Наоборот, как рыба в воде в этом были. Потому что между ними получилось такое мёртвое отчужденье, как после смерти, что любое живое стало видно как в драме трагично, объёмно, выпукло, подробно.

Что всё по настоящему и понарошке, как кто хочет. Это действительно так, как ни чудовищно это памяти, совести и нервам. Что Иуда предал Христа, потому что он для него был не царь, а самозванец, а потом повесился, потому что понял, что, он, кажется, перемудрил, как Смердяков в «Братьях Карамазовых», себя предал, а когда повесился, то потом снялся с петли и пошёл к Богу, потому что это отчаяние ему не в вину, а в спасение вменилось. Как Христа распинают непрерывно вот уже 2000 лет государство, церковь, зона, так что его воскрешение ежедневное в нас, как второе пришествие нам, мы уже как послеконцасветцы - живём после всего, после Христа,

после Иуды, после смерти, после воскресения. И это тем более красиво, что при этом мы в машине «Ауди-автомат» в пробке на Ярославке стоим в понедельник по пути на службу с дачи, по мусоркам под дождиком шаримся, может, чего вкусного и интересного сыщем, словно бы ни разврат наслаждения, ни корысть вдохновения нас не коснулись в нашем воплощении и мы всё понимаем и ничего не боимся, ни жизни, ни смерти, ни загробного воздаянья.

2.

Да, конечно, это из детства и из загробного воздаянья, но Максим Максимыч, муж Бэлы, которая решила, что скоро умрёт, потому что все кругом умирают и стала задыхаться, отец Серёжи Фарафонова, который выбегал на середину комнаты в раннем детстве и блажил речёвку собственного сочинения, а всё равно мы бандиты, а всё равно мы русские, а всё равно писю трогать можно, преподаватель словесности в школе для богатых, думал, что этим и отличаются времена.

Но двойник Веры Верной, мэра острова Рыба в море Стойсторонылуны, которая сидит на спине этой рыбы и её ловит, и удивляется, что так тяжело тащить, и Фонарика, жены Пети Богдана покойного, мануального терапевта, литератора, гуру, себя простить, на мостик стать и спать уйти от интеллигентского противопоставления, тварь ли я дрожащая или право имею, на сцене театра «Около» с юродивой улыбкой и движениями из детства и от папы с мамой, когда и хотелось бы по-другому, да не получится, говорит, страсть, жаме, и протягивает руки, а дядечка-режиссёр, юродивый и гугнивый, вдумчивый и седой с носом с горбинкой, играет Алису в пижаме, постмодернизм называется. А я сижу в зале и думаю, им бы Левшу и Леди Макбет Мценского уезда играть, но я не вхож.

3.

А Мария говорит, Максим Максимыч хороший, он как Балда Полбич, всё делает. Мы бессмертны, но мы бессмертны не потому что мы я, а потому что мы не я, чем больше мы в себя возьмём, тем больше останется, потому что мы станем им, в этом много наслаждения, вдохновения, в этом много подставы. В какой-то момент мы решаем, герои жизни, лабиринты одиночества смерти я, индейцы племени гипербореев, станем мы послеконцасветцы, передконцасветцы, концасветцы, не нажились мы, нажились, ещё не живши, будем жить всегда.

В этом смысле меня интересует мой герой, который будет жить всегда, не то чтобы он что-то решил, да и что он может решить, стать героем с именем, да и только. В этом смысле меня интересует герой, который нажился, ещё не живши, он будет именами играть как мыслями и судьбами, и будет тайно близок жизни. В этом смысле меня интересует герой, который не нажился. Моя мама говорила, к смерти готова, но всё же ещё пожила бы. Тёща Эвридика говорит, как быстро всё прошло, жалко.

Что жизнь это сплошной кайф, понимаешь это только в детстве и в старости. Только в детстве смотришь на это приключенчески, что всё ещё может быть, необитаемый остров, выгребная яма, харакири, дрозд на ветке, ребёночек, дуэль, ассигнации. В старости смотришь на это богословски, что всё уже было. Зоки спросили у Бады в хипповской книжке, хочешь, чтобы у тебя всё было? Так прошло счастье, всё, оказывается, уже было, а я и не заметил.

Так нет же, в конце концов, да, конечно. Я всем должен, покупателям пьющим, продавщицам, раздевающим взглядом. Но знаете, эта русская болезнь, «а ля Антон Палыч Чехов», что мир пошёл, что ничего нет, на самом деле, всё равно. Чё-то я ею достался.

Нет, конечно, я не собираюсь вызывать на дуэль светскую чернь, человеческое фарисейство, цеховую халтуру, ересь, что только начальники и святые спасут нас от себя самих. Куда мне. Для этого надо быть стукачом как Иуда, юродивым как Спаситель. Я скорее буду действовать как подпольщик, что я просто с собакой 30 лет гуляю, как режиссёр ТЮЗа Кама Гинкас, пока жена станет главным режиссёром театра, а страна окупётся в благородно-бандитские 90-е. И тогда он

будет делать спектакли, которые 30 лет придумывал, пока гулял с собакой, в которых Чехов - не Чехов, ничего нет, на самом деле, всё равно, а Лесков, раз мир есть, значит есть праведные, на которых всё держится. 20 век с его беснованием, лишь бы не быть Чеховым, лишь бы не быть тёплым. Не проще ли «Левшу» и «Леди Макбет Мценского уезда» ставить? А впрочем, я не вхож.

4.

Тусня Туснёвая, новый персонаж сказки, ангел из глины со сложенными ладонями в молитве, капли на холодной яблоневетке, иероглифы инь и янь уравновешены, по херу, говорит на улице прохожий про своё виденье жизни. Спаситель с креста сходит, Иуда из петли вылезает, папа улыбается сквозь небо мне одному, мама за меня хлопчет во всех инстанциях, начиная с издания книги, заканчивая приёмной югослава Саваофовича. Дочка Майка Пупкова, Ренессансная мадонна, Постсуицидальная реанимация, сёстры, Маленькая гугнивая мадонна, десятилетняя матершинница, Тусня Туснёвая, новая героиня, актриса, двойница Веры Верной, рыбака, мэра, сидит на рыбе, её ловит. (Монахиня в миру, четырёх родила, всё время шепчет молитву, скорей бы смерть, потому что очень устала, во сне, наяву, и просителям руки целует. Просители думают, или у нас поехала крыша, или уже начался 3-й век русского ренессанса, самая словесность, самая социальность, самая слава, русские слоны самые слоны в мире).

И Фонарика, жены Пети Богдана, аргонанта, он тоже теперь там хлопчет, вроде моей мамы, за дочку, Бога на лясках. Вернее, тройница, ещё Леди Макбет Мценского уезда очень похожа, не та, что у Лескова, а та, что в фирме «Трижды семь» юродствует при Иване 4 фирмы, Героиничихе, без которой ни один вопрос не решается, следует ли переставить фоторамку на стеллаже справа налево, следует ли дышать часто или через раз от счастья, что нашлась работа. Местная скопческая ересь, что только начальники и святые спасут нас от себя самих, а мы так, мимо проходили.

Кричит, никогда, жаме, на спектакле, она вообще-то актриса, играет Констанцию в пьесе про то, что все местные мужчины спасаются нирваной и любовью от дракона, все местные женщины смеются, чтобы не плакать всё время. А я сижу на спектакле и думаю, один московский татарин мне в юности гадал, что между 40 и 50 меня ждёт воплощуха, что наконец-то я дождался. Что не то, что я влюбился, я просто придумал имя для нового героя жизни у меня в рёбрах, взял лицо из жизни, имя из речи, характер из богословия. Кстати, про характер. Все мы - лабиринты одиночества смерти я. В этом смысле характер, это как женские старшины говорят про мужчин, все мужчины - козлы, как мужские старшины говорят про женщин, все бабы - суки. Тёща Эвридика говорит, по разному бывает. Одна женщина взяла четырёх детей из детдома, а в старости была домработницей у одного из них, и у неё не было денег на марку, письмо послать знакомой. Другая женщина взяла мальчика из детдома, он даже не женился, чтобы маму не стеснить, потом она постарела и померла, тогда стал к женщинам приглядываться.

Ну вот, я хотел соединить их судьбы, литературная сводня, мастер любовной интриги. Оказалось, она замужем за ним 3 года, а он на ней женился 3 года назад, после смерти мамы. Как говорит тёща Эвридика, мужчины - слабый пол, после смерти женщины, жены или матери, быстро умирают или женятся на молодой. Из 11 млн. населения, по непроверенным данным, из приёмной югослава Саваофовича луч света упал одновременно на эти два лица. Он работает в международной компьютерной фирме, два образования, (знание иностранных языков), умение себя держать, она боится рожать, потому что придётся уйти из театра на год, в который она влюблена как кошка в мышку. Вчера кошка Дашка принесла мышонка в форточку. Подкармливает нас, то соловья притащит, то землеройку, сволочь. Он между пальцев скрёбся и с жизнью прощался, в глазах, знаете, такая специфическая, национальная тоска, как в «Тупейном художнике» Лескова, когда я его назад под яблоню вытряхивал.

Там был один сюжет очень страшный в духе «Тупейного художника» Лесковского. Я про захват заложников в Москве. Женщина из глубинки, которая по объявлению в газете познакомилась с американцем и назавтра должна была уехать с ним и её дочкой в Америку, с тем, чтобы выйти замуж, ну и в общем, начать всё сначала. И пошли вечером на мюзикл «Норд-Ост» с дочкой и

новым мужем. И вот она плачет по телевизору. И дочка, и муж погибли от газа. Без прошлого, без будущего. Вряд ли она думает, кто виноват, что виноваты смертники, что виноваты чиновники. Ей наплевать, просто она видит, что в тот момент, когда она попыталась вырваться из этой заговорённой страны без истории, у неё не осталось ничего, кроме, может быть, Бога. Это и есть русский апокалипсис.

ГИПЕРБОРЕИ

Один раз было так. Я ехал в метро. Или нет, коробки с товаром носил в супермаркет из форда. В руках у принцессы была моя книга. Дракон на поводке, джип «Армада», юродивый служка корзинку везёт с покупками. Книжка мне подмигнула и рассмеялась. Никита Янев «Гражданство». Или нет, под полом мыши бегают, кошка Дашка следит с интересом, лапки внутрь под себя завёрнуты. В Бразилии издали закон, что нельзя называть животных человеческими именами. Штраф или тюрьма. Сразу становится ясно, что у нас здесь в этой стране рай без глупости и без зависти. Да, конечно, мы работаем до тошноты за зарплату, зато пошлость вся на рекламных щитах размещается, а внутри в головах жёлтый пойнтер бежит вдоль залива Строгинского.

Сегодня жена рассказала, что в выходные знакомый на даче собрал 50 полубелых, так их называли у бабушки в деревне Белькова, Орловской области, а здесь называют польский белый. Начало ноября, когда такое было, говорит она. Мама рассказывала, что когда рожала меня, то была зима, снег, мороз, 12 ноября, 35 лет назад, говорит жена. Завтра я поеду подарок покупать, думаю я, кольцо из стальных проволочек в виде глаза, а в нём зрачок из горного хрусталя мечется.

Дальше за скифами на север в полночной стране живёт племя гипербореев, которому не страшно умирать, у Геродота, кажется. На юге люди как глаз, на западе Атлантида, на востоке волхвы, а в Древней Греции спартанцы афинянам на просьбу о помощи, пришёл перс. «Земля есть, а воинов нет, длинно. Достаточно двух слов, воинов нет. Хорошо». 300 спартанцев 5 млн. языков 3 дня сдерживали, один остался жив, с ним никто не здоровался, он шептал самому себе, я больной лежал.

У нас тоже так было в этой стране, эшелоны из германского плена гнали на Колыму, одни умирали от голода, другие освобождались через десять лет, 3650 дней, третьи охрану разоружали и уходили в тайгу, посмертно реабилитированы все. Чаадаев писал в «Апологии сумасшедшего», запазуха русского севера, Грибоедова опознать в Тегеране по уродству на пальце смогли, про Пушкина современник сказал, светлая голова, а пропал хуже зайца на травле. Племя, которому не страшно умирать, пока вицлипуцли кровь пьют, Будда на лотосе Рамакришну поёт, человек-глаз смотрит видак, марафонец с доброй вестью бежит, наши опять победили.

ПЕРСОНАЖИ

Так хорошо, в одном подарочном магазине, Ангел, Пьеро, Арлекин, Мальвина, фигурки из глины, ожили, в город вышли. Швейцары танцуют у входа в казино под музыку под мухой. Милиционеры провожают взглядом. Охранники смотрят, что в сумке, книги неотсюда. Гаишники на перекрёстке скорость определяют с помощью водяного пистолета. Фигурки переоделись в одном супермаркете в центре в вещи с манекенов, замки открывались прикосновением ладони. Вошли в метро первыми, сели в электричку, переглядывались странно, как незнакомые, как после пьянки. Органы, что ли, у них оживали, сердце и почки, нервы и чресла, душа, способности, молчать, молиться, говорить, когда нужно молчать, тепло, органично, нелепо, красиво, мечтать, делать карьеру, материться, ненавидеть.

Тогда светящийся в них сошёл и сказал, я ваша душа буду, когда они забрались в салон чужого «Форда» и на приличной скорости неслись по Ярославскому шоссе в направлении Старых Мытищ ко мне в гости. Я им сказал, вороны это крысы с крыльями. Соседка приносит мясные объедки для собаки и кладёт их возле двери на этажерку. Прилетают вороны и воруют. Это крысы, говорит соседка. Дочка, когда была маленькая, называла крысами иномарки, приземистые, обтекаемые и

подвижные как капли. Я им сказал, я раньше мог обнять свою душу вместе со всем обитаемым миром, а теперь устал, поэтому он, видно, прислал вас. Знаете, ведь это тяжело всю дорогу рассказывать никому как его любишь.

Мальвина сказала, несчастье, счастье, какая разница. Я сказал, умопомрачительно для женщины. Пьеро сказал, я буду грузчиком в одной конторе, масло, сыр, сметана, творог, там берут без прописки, а по ночам буду рисовать, как всё красиво. Я сказал, сильно. Арлекин сказал, я ещё не решил, или монахом, или охранником. Я сказал, это почти одно и то же. Ангел сказал, у меня для вас письмо. Я сказал, от кого? Он сказал, там всё сказано. Взял книжку с полки и подал. Я сказал, это же моя книга, Никита Янев, «Гражданство», издательство «ОГИ», 2004 год, и растерялся. Он рассмеялся и сказал, я всего лишь гонец. Знаете, туда-сюда. Я сказал, сшивая как иглой. Он сказал, вот именно. Я сказал, чтобы книга не рассыпалась. Он сказал, светящийся так просил передать на словах, Иванушке-дурачку. Я сказал, я рассчитывал на большее. Он сказал, на зарплату? Я сказал, на пенсию. А с какого барабана, сказал Пьеро? Знаешь что, сказал я? Что, сказал он? Ничего, сказал я.

В это время приехала Мария с работы с полной маршруткой цветов и сказала, умру я скоро, что ли, такого дня рождения ещё не было. Нет, сказал ангел. Это кто, сказала Мария? У нас не бывает гостей, мы слишком дорожим покоем и одиночеством, только непрощенные. Я сказал, они из глины. Она сказала, мы тоже. Я сказал, это персонажи. Она сказала, а.

ЖАНРЫ

Вчера я остался один дома впервые за последние шесть лет, когда пишу как заведённый, больше чем Лев Толстой и В. И. Ленин. Видно, умру скоро и внутренний сторож это чувствует. Жена осталась у подруги после долгого спектакля, дочка у бабушки на субботу и воскресенье. И я не находил себе места, повключал телевизор. Обнажённые дамочки, намазанные оливковым маслом, как древнегреческие атлеты, изгибаются во всяких позах, исторические фильмы про то, что хорошие всегда побеждают, ток-шоу со слезами на глазах про чеченских сепаратистов. Когда ездил к маме в больницу, на похороны, за наследством, тоже оставался один, но там другое. Дорога, дом, парк, школа, больница, кладбище, рынок. Как будто бы ты живой и как будто бы ты умер. Даже рот страшно раскрыть, чтобы заговорить, кажется, что вместе с тобой заговорят сферы. И буквально, они говорят на южнорусском диалекте, я на среднерусском. Чужой, родной южный город Мелитополь, окраина скифо-сармато-казацких прерий или на Приазовщине, по местному. Теперь мне кажется, что там кто-то был ещё, кроме маминого одиночества и моего одиночества, бог места, бог детства, бог рода, сам Спаситель зашёл на огонёк в степи, Пушкин, папа? Не знаю, просто мне почему-то сладко теперь вспоминать, а тогда было очень страшно, тоскливо и одиноко, как смерть при жизни.

Просто туда нельзя ходить и всё. Я про ток-шоу, перфоменсы и тусовки. Нельзя участвовать в жанре, за который потом будет стыдно, и ты об этом знаешь, даже из тоски по счастью. Мария прочла как-то вслух кусочек воспоминаний одной маститой литераторши, от которой останется роман про 90-е годы, на который она думает, что это сборник стихов. Я вчера составлял антологию за девяностые годы. У меня получилось: «Карамзин. Деревенский дневник». Сборник стихов, на самом деле роман, новый жанр, Людмила Петрушевская. Параджанов, «Лебединое озеро. Зона». Киносценарий, на самом деле повесть. Игорь Холин, рассказ «Третья жертва».

Мемуары, в меру убористые, в меру кокетливые про то, что жизнь была и это очередное чудо, сам бы я, конечно, не стал читать, потому что там есть неправда, от которой всегда очень грустно. Венгерские события, все голосуют в поддержку, потому что всем надо кормить и кормиться, так они потом напишут в неправедных мемуарах, а на самом деле, по барабану. Один юродивый проголосует против, его, разумеется, турнут, он сопьётся от одиночества и безнадёги, может быть до сих пор где-то в психушке вспоминает как бомжевал, отлавливал симпатичных иностранок в городе-герое на вокзалах и водил их с лекциями по столице в жанре роман, повесть, рассказ бесплатно. Так вот, я про жанр, все пойдут дальше с тётей Валей передачу от всей души посмотреть про нашу задушевную советскую правду все 70-е и 80-е годы, потом тётя Валя постареет

вместе с социализмом, потому что окажется, что его там уже построили и не так, как у нас, на страхе, если опустить одну треть населения, то оставшиеся две трети будут жить уже при социализме, потому что их не тронули, а рационально, на тысячное пособие по безработице, безработный может позволить себе путешествие в полмира.

Про тётю Валю все забудут, она умрёт в нищете и одиночестве. Новых новых русских сменяют старые новые русские. Я не про это, я про жанр. Разумеется, я подсуживаю, а как иначе, у каждого своя правда. Я ведь никого не заставляю жить по своей правде, а просто решаю, ходить или не ходить мне в тот жанр, ток-шоу, перфоменса, тусовки про то, что мы счастливы, успешны, задушевные, все нас любят. Просто мне показалось, что все мы герои одного романа «Одиночество» дядечки, которого распяли, потому что он был не в кассу со своим резонёрством. Потом он воскрес, потом его опять распяли, уже воскресшего, в общем, так до бесконечности, это даже скучно. Я, опять-таки, не про это, а про жанр. И вот почему кокетничала маститая литератор, она женщина неглупая, она понимала, что от своей жизни, к тому же уже прожитой, нельзя отказаться, а надо её защитить, к тому же, там ведь было много чего такого, о чём, собственно, она и хотела поведать, как о единственном Боге.

А я слушаю, что кроме дядечки юродивого вечного, которого разопнут, а он опять воскреснет, там получается только тётя Валя с её одиночеством финальным. То же на то же, вот вам и жанры.

Родина

Что Мария могла бы быть женою главного нейрохирурга Гипербореи, что Мария могла бы быть женой главного прокурора Атландиты, а она стала женой главного писателя Лемурии, потому что одиночество из трамвая пожалела. Когда дождь шёл на улице, а вокруг одного юродивого не шёл, когда из института возвращалась. А он 30 лет, с тех пор как умер отец и вернулся из западной группы войск с зашитым после вскрытия горлом в цинковом гробу, не выходил больше из дома, потому что вместе с ним приехал грузовой контейнер книг и кто-то должен был этой жизнью заниматься, но денег ему не платили за эту работу, одушевлять пространство, медитировать над проблемой свободы воли и отсутствия денег как Родион Раскольников аналогичный, потому что эта работа не приносила успех, а приносила, наоборот, неуспех, и что неуспех это успех, на самом деле, а успех - неуспех, до этой лычки и нычки, пенсии по инвалидности в ссылке надо было дослужиться. Ведь даже Достоевский этого не понял, а Толстой понял в 80 лет, когда написал рассказ «Хозяин и работник». Правда, в православных церквях за это 2000 лет молились, хоть православные монахи для этого всё дальше на север уходили, но ведь мы молимся, чтобы забыть.

Не знаю, что сделать, чтобы не забывать, отжиматься всё время, что ли, как Сильвестр Сталоне, или дрова рубить всё время, как герой Адриано Челентано, чтобы женщинами не увлекаться. Пусть люди сделают то, что умеют, я уйду в сторону и не буду мешать им, поселюсь в лесу в избушке и напишу роман «Бегемотова Даша» про то, что случилось за 10 лет жизни этой кошки, которая родилась на платформе «Немчиновская» с Белорусского вокзала в 1995, а погибла от своры собак в Старых Мытищах с Ярославского вокзала в 2005. И пусть жизнь нас с людьми рассудит, как Мария плачет, что этот серый бетонный забор в окне будет, этот ржавый железный гараж будет, в котором хранятся книги, мебель и разобранный жигуль, этот клён возле них будет, а этих 10 лет не будет. А я думаю, кто из нас писатель? Тот, кто увидел, что вокруг юродивого не идёт дождь 20 лет назад? Тот, вокруг которого не шёл дождь, хотя вокруг него всё промокло? Те, кто никогда не путали успех и неуспех жизни? Даша Бегемотова, кошка?

Как у Катерины Ивановны в больнице из под коротких рукавов чёрной футболки выглядывали длинные рукава другой чёрной футболки и как это было красиво. Как снимал уже снятые очки, чтобы раздеться перед сном, и это было тоже красиво. Как Катерина Ивановна уже седая и закрашивает седые пряди сине-красной краской и по прежнему ждёт чуда, как 20 лет назад, когда ещё не было дочек-близняшек, которые глядят в глаза безразлично-брезгливо, как только подростки умеют, потому что ещё не подставляли и не подставлялись, и на вопрос, где они были вместо школы, отвечают, какая разница.

Т. е., можно всё время суетиться как население для внутренней дисциплины, чтобы не путать

по-настоящему и понарошке (успех и неуспех жизни), можно жить возле в лычке в нычке на пенсии по инвалидности в ссылке как писатель, чтобы всё время не путать по настоящему и понарошке (успех и неуспех жизни), можно уходить всё дальше на север как монахи, так, что всё уже перемешается в голове, Гиперборея, Атлантида, Лемурия, и только руки будут помнить, что надо отжиматься и колоть дрова всё время, чтобы только знать всё время, что Мария и не выбирала между главным нейрохирургом Гипербореи, главным прокурором Атлантиды и главным писателем Лемурии, когда увидела из трамвая родину, кругом идёт дождь, а вокруг одного юродивого не идёт.

Заслуженные дядечки по телевизору говорят про культуру, что её надо насаждать. Так вырастает новая государственная наивность, что надо написать письмо Сталину, чтобы он спас нас от себя самих. Культура это когда вы идёте мимо помойки, а там ковыряются бомжи в поисках цветных металлов, пустых бутылок и съестного. И что вы подумаете, «позасирали тут» или «а кто здесь не приживает»?

Весна-2

Собака Блажа Юродьева - Поблядушкина - Говноедова - Молодцова - Бойцовскова. Сначала её покусал Седуксенычев пёс Левомиколь в грудничковом периоде, за то, что она слишком близко подошла к его кости, и она стала юродивая. А может, потому что собаки похожи на хозяев. А может, потому что там, в том месте, в котором мы жили, хутор Горка на острове Соловки в Белом море в самоссылке за то, что зять Орфей и тёща Эвридика сделали себе хакари по вопросу воспитанья дочки Майки Пупковой. И с тех пор я до неё больше не докосался. И она сделалась сначала не художница, а наездница, а потом литературный критик и редактор, а не фотомодель. Хрен его знает, почему так получается в жизни. Может, потому что в том месте сначала автоматчики Ногтёва и Эйхманса Ноздрёв и Чичиков в преф одежду Христа 2000 лет в избушке охраны друг другу проиграли, а потом там я появился в самоссылке в обнажёнке. Когда мылся, краем глаза заметил, как местного бога Бера русский Христос от окна отгонял, а красноармейцы, белогвардейцы, батюшки, самоубийцы смеялись, что это уже не трагедия, а драма. Когда же это так стало, когда их убили или когда я стал юродивый через 2 поколенья? Вам не всё равно, что ли, ведь важно, что стало, написал я стихотворенье, и они наконец улеглись в могилы первый раз за 70 лет спокойно.

Потом склеилась в Мытищах с лайкой дворняжкой Мишей Подъездовым. А потом на Соловках с водолазом дворняжковым Доном Лётчиковым. А мы роды принимали и пристраивали щенков на Птичьем рынке по сту рублей штука. Не нам, а мы. Как книжку напечатать за 20 лет работы удалось только на мамины деньги, мамы Яневой Валентины Афанасьевны, христианской цивилизации, когда она умерла, а потом продалась наследная квартира в чужом родном южном городе Мелитополе за 5 тыс. долларов США по валютному экваленту.

Потом пит-буль на неё с хрюканьем залезал, а она полтора часа на него кидалась, что он тормоз, у неё уже закончилась течка. А я стоял рядом и думал, а мне что делать? Взять Блажу на поводок, пит-булю будет только удобней. Бить пит-буля ногами, как-то парализует его внешность крысы величиною с тачанку с челюстями крокодила. Надо было взять его на поводок и привязать к берёзе, сказал мне голос Марии Родиновой. Поводка жалко, он у нас давнишний. А потом, я думаю, он как Дикуль с берёзой бы с корнями за нами побежал Блажу носом пырять под хвост, дай хоть понюхать, пока взмыленный хозяин не нашёлся.

Потом с чавканьем чужое дерьмо поедала, а хозяин кричал, «фу», что мир порочен. Потом она одна осталась в память о минувших событиях, потому что кошка Даша Бегемотова уехала в Мюнхен устраивать дела с новой книжкой «Роман - воспитанье». От неё остались одна просевшая яма на участке под сливой и беспричинные слёзы у жены Марии Родиновой по вечерам, вместо истерики, что муж жену не любит, а жена мужа любит, бывает же такое, обидно, как проиграть в финале лиги чемпионов. Кот Мотя Соловецкий оставил после себя память. Приходит каждый вечер и в форточке трётся, точно такая, только баба. Говорит, вообще-то его не убили, он жил на два дома в последнее время, красивый, здесь таких не бывает, северный, тростниковый,

длинношерстный, достойный. Вообще-то я не голодная, а что это у вас, сметана. Ну вот, а потом дом с мезонином продали и уехали в Долгопрудный, и его забрали, а там теперь живут из Урарту. Больше нет сметаны?

Так у неё стала древняя дворянская пятерная фамилия Юродьева - Поблядушкина - Говноедова - Молодцова - Бойцовскова.

Община

Дивова некая скоро родит ребёнка и он будет летать, потому что в третьем поколении мутант это уже ангел. Но вообще-то аборт делать будут. Грибова говорит, через 9 месяцев узнаешь, забеременела или нет, е... не завтракать. Стонов отвечает, а мне по херу, хоть через 9, хоть через 12. Я за стеной веранды притаился (с ангелом из папье-маше Степаном Самошитым, подаренным мне на сороковой день рождения), которая прихожая и мой кабинет одновременно, и думаю, а откуда он знает, что ангелы не через 9, а через 12 месяцев рождаются и обобщать не умеют (как народ и население, только народ подставляется, а население подставляет)? А Гойя Босховна Западлова, у которой на участке (вечером в понедельник) с крыльцом, пионами, маргаритками, астрами, малиной и мангалом собрались соседи. Стонов, мутант, инвалид детства, из квартиры №2, пришёл консультироваться к Дочке Цветковой, как делаются аборт и для чего, потому что Дивова некая, которая всё время стонала, и на которую соседка Грибова из квартиры №1, индейка, которая тоже в мизансцене, кричала, проститутка, за то что та ей босоножки разбила. А теперь, «всё то же», говорит Стонов. Не ори возле веранды, там Никита работает, говорит Гойя Босховна Западлова. Я говорю ангелу, во как. А индейчонок Никита Второй говорит, ы, которому год, он тоже в мизансцене. А индейчонок Грибёнков говорит, мама, пошли, чай остывает, и выбегает из мизансцены.

Тогда ангел Степан Самошитый, подаренный мне на сороковой день рождения женой Родиновой Марией, из папье-маше, с выскребанным из головы пластилином, который скоро перенесётся в неродившуюся душу в этом месте или, по недосмотру и упущению, за пьянством и развратом, в родившуюся душу, не выдерживает и говорит, вот и вы, люди, находите, только когда потеряете, место, людей, жизнь. Вот ли тебе не община, за которой ты ездил в Мелитополь к маме, на кладбище и в больницу (и мама тебе говорила, живи, раз родился), на Соловки в самоссылку, отпеть неотпетых, в деревню за счастьем, где живут Антигоны, друг друга бессмертье. Конечно, это неправда, но ведь и не неправда. А главное, что если здесь живут фашисты, антифашисты, Бог, ангел, в этом месте, в пригороде Мегаполис, в стране Апокалипсис, то как же можно это отмазать, то что-то, ведь, будет дальше, то значит, у этого будет будущее, всё равно что это такое будет, глобальное потепление, великое переселение народов, гибель империи, у этого внутри будут автор, герои, фашисты, антифашисты, Бог, ангел, община.

Шаламов пишет, что у них в камере сидел шахтёр, которого спросили на партсобрании, что бы ты делал, если бы великого октября не случилось, он ответил, наивная душа, работал бы в забое, и получил свою десятку, надо было ответить, недоумевал. Те, кто думают, что теперь по-другому, пусть поработают грузчиками в фирме, всё равно какой, на дебаркадере с пандуса на полету с рохлей перегружают коробки с фотоаппаратурой и зубрят сутры: начальник сказал, бурундук птичка, значит, бурундук птичка, не нравится, до свиданья, есть, сэр. А потом по ночам пишут, мы живём в третьем веке русского ренессанса, самая словесность, самая социальность, самая слава, русские слоны самые слоны в мире, то ли стихи, то ли рассказы, то ли молитвы. Просто есть такая точка, из которой даже умереть не страшно, правда, неизвестно, долго ли она продлится. Зато из неё пьющий бомжующий сосед Саша Алмазов, Бог, его сын, инвалид детства, кликуша, зачал ангела, который всё равно родится, даже если Дивова некая сделает аборт, соседка Гойя Босховна Западлова, пахан общины, которая знает, что вся наша жизнь ценна, если автор надывает в ней смысл, а пока что пусть соседи Грибовы рожают мальчиков, муж Базиль Базилич Заподлицов строит дома, Дочка Цветкова консультирует про аборт, сама цветы сажает, ладно, потому что надо же чем-то заниматься и придёт время.

Наши

В морге засели наши, всё время скребут что-то, а что там можно мести на асфальтированной площадке перед моргом, видно, знают, что обряды это единственное, что у нас осталось. Один в джинсовом комбинезоне, в салатовом длиннополом халате, с серьгой в ухе, всегда свежевыбрит, с лицом Димедролыча, уязвлённым, то ли тайным пороком, то ли тайной страстью, то ли тайной мыслью. Остальные нрзб. Мы с собакой Блажей тоже каждый вечер на прогулке в лесопосадке между железной дорогой и больницей сочиняем про них новеллы. Ещё наши, бабушка в мохеровой шапке в любое время года, всегда в окружении собак, везде убирает, возле стекляшки, возле кабака, на помойке возле башни, на помойке возле китайской стены, на помойке возле Ярославки, с лицом бабы Поли, которая на восемьдесят седьмом году жизни поняла, что это она перед всеми виновата, что мир таким получился, и только я её понял когда-то.

Москва-то меня отпустила, а вот Соловки не принимают, навигация не открылась, вернее, она открылась, а вот катера не ходят. Стало быть, у меня есть время описать наших в пригороде Мытищи, то ли для того, чтобы закончить предыдущую книгу, Австралия, про то, что у всякого своя Австралия спрятана под кожей, то ли для того, чтобы начать новую книгу, как у меня всё было, про то, что все - наши, и как ненаших не оказалось. Год располагается похоже, каждый год тоже. Сначала зимой основная книга про то, что как перезимовать зиму. В прошлом году, «Чмо», учебник про то, что камень, отвергнутый при строительстве, стал во главе угла и услышал другие камни, как они заговорили и сказали, пусть попробует, опишет, всё равно ему не поверят и не напечатают книгу, потому что русская литература мертва. Тогда книгу напечатала покойная мама через два года после смерти на деньги, собранные на бутылки, собранные в парке в чужом родном южном городе Мелитополе на окраине скифо-сармато-казацких прерий на Приазовщине, в бывшем осколке великой империи, потому что христианская цивилизация всё равно победит, хотя никаких данных за это, как говорит Бэла, жена Максим Максимыча, коменданта Белогорской крепости, наперсника гаражей с их префом, штофом, ренессансными революционерами, трактующими апокалипсис, дезертирами всех войн в нычке, зрителями ботанического сада «Хутор Горка» в штате Вермонт, Тасмания под кожей, и так пройдут три поколения советских и никто не заметит.

В этом году основное зимнее занятие «Роман-воспитание» про то, что жизнь, оказывается, уже не трагедия, а драма, потому что все мы делаем, оказывается, одну работу, местного бога Бера в русского Христа выморачиваем под сурдинку, пока основная помощь не подоспела. Потом было, что после основной работы можно отдыхать и наблюдать с острова Жужмуя небо и землю, какое всё красивое и родное, потому что рядом смерть, величиной с семечку, для стереоскопического эффекта. И что, может быть, эта работа не менее важная, чем основная. А в этом году остров Жужмуй оказался островом Австралией под кожей, потому что внутри и снаружи одно и то же, после основной работы. И сразу же проклюнулась новая работа, драма, как у меня всё было. Драма, трагедия, постмодернизм, неохристианство, стукачество, юродство, шут короля Лира, труп Антигоны, Мандельштам Шаламов, Сталкерова Мартышка, индейцы, инопланетяне, мутанты, послеконцасветцы, сезонники, дачники, местные, туристы. Потому что без маленького мальчика 40 лет, выглядывающего из-под мамино плед на топчане на веранде возле жизни с упрёком, когда уже он станет большим и будет всё делать, великая трагедия жизни остаётся абсолютно неубедительным фарсом, с её тайной страстью, пороком, мыслью, что все наши, что ненаших просто не оказалось, что никакого сатаны нет, что есть один Бог, что нет, он, конечно, был, и он был ты, но ты смог сделать эту работу в 32 романах за 8 лет жизни, по 4 в год, выморочить местного бога Бера в русского Христа, пока наши не подтянулись и навигация не открылась с неба на землю.

Потому что эта работа начиналась на Соловках, и у меня, и у страны, в самом чёрном и самом белом месте, когда во втором веке русского ренессанса и апокалипсиса на краю света стали ставить зону, самую страшную в мире, где раньше монастырь был, самый красивый в мире, после самой словесности строить самую социальность, русские слоны самые слоны в мире, теперь уже почти 100 лет назад. И я воскликнул, от нас самая слава уплывает, про которую знают все наши,

что камень, отвергнутый при строительстве, стал во главе угла, что жизнь не трагедия, а драма, что посмотреть отдельно то, что у Бога внутри, потому что ничего, кроме Бога нет, счастья, что раньше была работа и потом будет. Местного бога Бера от окна сторожки на Хуторе Горка в 4 км от посёлка Соловецкий русский Христос отгоняет, а батюшки, террористы, красноармейцы, белогвардейцы смеются, когда это так стало, что трагедия стала драма. Раньше было, что автоматчики Ноздрёв и Чичиков одежду Христа друг другу в преф проиграли до усрачки, а теперь какой-то голый моется в корыте и их отпеваает. И Соловки меня пропускают и навигацию открывают. Хоть там директора - антигерои и мэры - Платоны Каратаевы, хоть там местные - стукачи и ангелы. Трагедия стала драма, то что было страшно, стало смешно, а то что было смертельно, стало красиво.

Неиниотдельноивместе

Седуксеныч, оказывается, моряк-подводник, служил на атомной подводной лодке. Это примерно как в спецназе чёрные береты, не те, в которых теперь все ходят, а те, которые когда в кабак входили, то десантники вставали, в каком бы положении их отношения со спиртным и прочим не находились, в начале, в середине, в конце процесса, которые сами себя считали в войсках белой костью и голубой кровью.

Я всё думал, на каких ресурсах Седуксеныч держится так долго. Бог, местное дно, монахи, посёлок, закон, оберегание смысла, мама, сынок, подработки. Никого из старых не осталось, все или умерли, или уехали, или спились, или стали депутаты поссовета. Димедролыч в Китае изучает иероглиф «отчуждение». От всех отчуждение, от себя самого отчуждение. В виде острова в море, на острове никого нету, и вокруг острова ничего нету. Так что и непонятно, кто отчуждается, по настоящему или понарошку, трагедия это или драма, внутри или снаружи.

Самуилыч на Москве для перфоменсов и тусовок про информационные потоки. Что смерть это вроде пенсии по инвалидности бесконечной. Ты всех видишь, а тебя никто. Как во время дождя. Короче, много денег надо заработать. Валокардинычиха в Мятке при Валокардинычах дежурит, муже Валокардиныче покойном, внуках Валокардинычах, дочках. Но домой, конечно, всё больше тянет. Но уже непонятно, где он, этот дом. Остров в море или другой, остров жизни в море смерти. Как человек, когда рождается, он умирает, а когда умирает, рождается снова.

Это как Бог, который подумал, я - Бог, и стал человеком, преодолением лабиринта одиночества смерти я, гордыни. Не важно, что у него написано на берете, на бирке на кровати, музей, монастырь, посёлок. А потом человек подумал, я не Бог. Чёрная вспышка света озарилась. Умер и стал Богом, который меньше всех на свете, потому что всем фору даёт, последнему семечку на асфальте, а вдруг, оно через него пробьётся, потому что всё на нём вырастает.

Финлепсыныч, который про это знает, осуществляет сообщенье между этих точек, Китай, Соловки, Москва, Мятка, Архангельск, Северодвинск, Австралия, Мелитополь, при помощи славы, которая преходит.

Теперь понятно, после атомной подводной лодки факультет журналистики МГУ, круто. Я в пединститут поступал в форме и в предложения на сочинении старался ставить не больше двух слов. Хемингуэвский стиль, он подумал, он сделал. Он не подумал, он не сделал уже не надо. Не и ни с глаголами и наречиями по уставу гарнизонной службы во время ночных подъёмов и несения караульной службы проходят своеобразно. До года все не и ни пишутся раздельно, после года слитно, потому что до года ничего нельзя, после года всё можно. Так что в мозгу некоторая путаница рождалась, кто же здесь наши, а кто не наши, а в глазах ко всем недоверье, и надо было некоторое время, чтобы с правописанием не и ни разобраться.

Прошлоенастоящеебудущее

Я стану говорить, я буду говорить какие-то свои доводы, а мне понравилось молчать, потому что тогда видно и слышно. Мер Мерный уже построился верить как положено по уставу гарнизонной

службы с любопытным лампадным маслом в глазах и фразой про огонёк в конце тоннеля. Что-то из этого будет? Да что ты захочешь, то и будет.

Вера Верная с её, делать как надо, для этого всё больше надо. Детей, мужа, работу, всё возьмите, оставьте только рыбалку. Чагыч с его, быть порядочным человеком в этом месте адски трудно. Прихожане бьют в спину и подставляют, апофеоз посредственности и корысти. Никогда не думал, что молитва про чувство меры и есть огонёк в конце тоннеля. А ещё, что у одних советская армия в 18, у других в 40, у третьих в 60, у четвёртых в 87, наступает, а у пятых всю жизнь длится.

Седуксеныч устроился лучше многих. Когда нужно обидеться, пьёт водку, когда нужно пить водку, обижается. Ещё успевает ухаживать за мамой, воспитывать сироту, урку, сына, издавать книги, ходить в церковь, просто национальный герой какой-то.

Скинхед Скинхедов остался непроявленный как плёнка, не потому что я обосрался, а потому что это как на дуэли. Каждый лишний, не вызванный необходимостью шаг, может быть истолкован как малодушие или фарс.

Двойник Финлепсич что-то писал всё время, и ловил рыбу, и дарил свою книгу бывшим друзьям. А теперь и не друзьям, и не врагам. Это как муж и жена не стали относиться друг к другу хуже с годами, а просто привыкли, что умирать в одиночку.

Подполковник Стукачёв лежит под опрокинутыми небесами в земле, которая медленно ползёт по орбите, но на самом деле очень быстро несётся. Все эти покрытые миллиарды расстояний, пущенные чьей-то рукою, что-то я стал путаться в этом вопросе.

Видно я не заслужил медали «За заслуги перед отечеством» первой степени, а заслужил медали «За заслуги перед отечеством» сто пятьдесят миллионной степени. Вот почему мне захотелось всех увидеть и всех услышать, потому что я стал самым маленьким на свете. Посёлок Рыба в Северном Ледовитом океане, колокольный звон, зовут на утреннюю службу. А ты не идёшь, обиделся на Бога, что он фарисейство и фашизм попускает.

Окунь, снимаемый с крючка с его благородным страданьем, жизнь с этой точки меня и жизни.

Вдова Толмачёва

Как страшно помирать, Господи. Нырнуть в холодное озеро Хуторское, из-за того, что вода светлая, не нагревается, страшно. А нырнуть, не вынырнуть, захлебнуться, задохнуться, замереть, замёрзнуть. Потом шагнёшь и безумица Мера Преизбыточная из города Апатиты оставит записку возле входной двери, ты куда дел мои коряги? Припахала, островная библиотека переезжает из монастыря в музей, она выпросила у Ма сосновые комли причудливой формы, говорит, буду оформлять свою козлятню, сейчас в Филиппову пустынь за святой водой, потом на соборованье, а ты давай, работай. Видно не у того сарая оставил. Потом колбасу из кухни собако-кошка утащила, я полчаса решал покупать или нет, решил, что заслужил, пока дотащил комли. Оставила два кусочка, видно спугнули, вместе с пакетом исчезла. Валокардиныч Серёжа Фарафонов дверь в прихожую оставил открытой. Я ничего не сказал Валокардинычихе, потому что ей на сегодня хватит, на валокардине, говорит, спокойная как танк в воде, сегодня сражалась, а заявление в милицию писать не стала. Я подумал, может в форточку проникла, а потом подумал, прямо как я. В последнее время дружу только с такими. Ма, которая плачет всё время, что у неё чувство жертвы и этим пользуются люди, пьющие и прихожане. Седуксеныч, который приходит к мэру и говорит, Акакий Акакиевич, не продавайте остров. Ему отвечают, хорошо, отойдите. Валокардинычиха, которая боится бояться. По посёлку бегают собаки наперегонки с машиной и мотоциклом. Это значит, в транспорте хозяин. В лес, из леса, на рыбалку, с рыбалки. 5, 10, 15, 20 километров. На севере любят животных. Они отвечают тем же. Питаются не колбасою. Прожить легче. 9 месяцев зима и остров отрезан от мира. Чагыч шепчет молитву про чувство меры. Вера Верная всё понимает, но ничего сделать не может. У многих пар вместо детей кошки и собаки. А людей они не очень любят. Мария сказала, они бездетны. Вдова Толмачёва, вокруг как вода озера Хуторского - муж полковник Стукачёв покойный.

Это

Как сидишь, куда глядишь, какая фигня. Нет, там просто приходят мысли, а потом становится видно, откуда они приходят. Это есть на иконах, у ренессансных живописцев и у современных. Образы придумывают для этого, образ сатаны в том числе, и образ Бога. Они приходят из ниоткуда, не с той стороны даже, потому что никакой той стороны у этой нет. Вот ещё одна метафора, там они знают, что земля у них как Соловки у русских, неизвестно, чего больше, счастья или несчастья, но именно этот букет рождает ощущение полигона и боевых действий, что всё по настоящему, а не понарошку. Вот ещё одна метафора, когда стоишь по пояс в холодной воде озера Хуторского недалеко от посёлка в прохладную погоду и уговариваешь себя нырнуть, думаешь в то же время, Господи, как страшно, нырнуть страшно, не то, что умирать. Потом сделаешь усилие, вода не так холодна, как казалось, кожа покрылась гусиной кожей. А это уже надето на тебя спокойно, мысль, не мысль, какое-то пенсионерство, что после смерти или за десять лет до смерти всё счастье.

А это, само это, описать его нельзя, конечно, но почувствовать можно. Когда вы едете по лесной дороге на велосипеде и у вас ощущение, что вам в спину кто-то смотрит, типа местного мишки, бога Бера, который пришёл по льду с материка, ваш страх. Ещё, когда вы стоите на вечерней молитвы, у иконы Зосимы и Савватия с кремлём, вы просто знаете, что в принципе, ничего представлять не надо, это как остаток с тяжёлой работы, от которой очень устал. А какие-то там специальные упражнения как у ёгов или монашеская практика как у монахов, это мне напоминает тренажёры в качалке. Пьют они очень, это точно, одни, а другие очень одиноки. Разве что с жизнью сравнить, но с жизнью тоже не получается, потому что девочка разденется и оденется и останется бездетной, мальчик будет всегда пьян и будет всегда трезвым. Потому что они, в сущности, тоже это, только ещё не знают. А зачем узнавать нужно? Ну, не знаю. Хотя бы потому что красиво, трепетно, пропирает не по детски, слова мало что значат.

Мёртвый

Я могу по пальцам перечислить, какие пространства стали отчуждёнными, на прогулке с собакой, а какие живые. Для меня это важно, потому что я как пенсионер живу здесь всё время и одиноко. Только у пенсионера пенсия, а у меня вина, а в остальном похоже. Они как отлучённые от жизни, всё чувствуют про неё, а ей всё равно. А ещё они боятся, я тоже, как это всё равно станет Мытищинским моргом.

Европейский конкорс на железнодорожной станции Мытищи живой. На службу, со службы в чехле из топика и драных на фабрике джинсов, если блондинке посветить фонариком в ухо, то у неё глаза загорятся. Китайская стена в Леонидовке тоже. Там стекляшки, тусовки, собачьи свадьбы, гопники, восьмиклассницы, коляски, джипы, мажоры. Рынок, оптушка тоже. Там местные из Урарту и гуцул Василий Иванович Чапаев стремятся наколоть поартистичней.

Ярославка тоже. Там у гаишников с автоматами крыша едет, потому что всё едет. В посадке Лестеха на переезде тоже. Там уикенты, дамы и русские борзые прогуливаются под руку. Медицинский проезд тоже. Морг, роддом, поликлиника, ярмарка тщеславия жизни. И пенсионер понимает, в Мытищах только одно мёртвое место, и ему умирать не обидно.

Великая сестра

Два дела на год - дом и книга. Почему это очень большие дела? Потому что дом стоит в местности, а такой местности нет, я её не узнаю. Книга для людей, а таких людей нет, я их не вижу. Поэтому это очень большие дела, нужно очень стараться, и теперь, чтобы получилось, и потом, чтобы жить в них долго. Я не знаю, что для этого надо сделать, потому что вряд ли это какое-то новое усилие, потому что всё, что я мог сделать, я сделал лет 30 назад, понял. Здесь всё дело в подробностях. А ещё это как женские капризы великой женщины жизни. Мужчина для меня не великий. Тут всё

дело во мне. Даже Бог для меня соперник. Это нормально. Я знаю много великих женщин, мама, жена, тёща, Надежда Александровна Приходько, Ира Совалёва на Соловках. Яков боролся с Богом в бедре. Мне слишком понятны мужские страсти, мы все порченые, траченные. Поэтому мне величия не видно. Пусть мне женщина жизнь расскажет как папа, Николай Филиппович Приходько, Петя Богдан, Петя Дейсан, Гена Янев, Александр Сергеевич Пушкин, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов боролись с Богом на равных, но победил только один.

Теперь про время, мы пережили великое время, все эти Гитлеры, Сталины, Хиросимы, и по подлости, и по подвигу. Время не проходит. Дедушкам велели идти и умирать молча, они шли и умирали. Папы даже не знали, зачем они живут после смерти Бога. Наши дети нам говорят, нас прёт от Соловков. Всё время сосредоточилось на нас. Я завожу будильник, чтобы утром отвезти 5 кило кетчупа, 5 кило помидор, 9 кило «Бабушкиных котлет», такое название, теще в столовую. В столовой работают 4 бабушки, они говорят, в 20 лет кажется - 40 лет - старость, в 40 лет кажется, хоть бы до 60 дожить, в 60 всё начинается сначала, когда государство 2000 пенсии заплатило. Что это такое? Это билет на поезд от Москвы до Владивостока.

Теперь про пространство. Мы жили в странном пространстве, в котором вечером по телевизору после работы Штирлицу говорил Мюллер, «сдаётся мне, мил-человек, что ты стукачёр», на следующее утро вся страна так говорила. Они бы хотели, чтобы так повторилось, они забыли, что для этого надо, один дед погиб на фронте, другой побывал в лагерях, отец умер в 38 от загадочной болезни, которой теперь половина подростков болеет. Всё время сосредоточилось на нас, пространство тоже. Усталость такая, руку поднимаешь, а опустить забудешь, так она и висит в воздухе как Христос распятый. Знал я одно место, там теперь православный курорт, Платона Каратаева, соль земли русской, показывают за деньги. А он уже давно сбежал оттуда в мою книгу жить, изданную на мамино наследство. Бедные наши дети, они в 10 лет знают, кем они будут, банкирами или бомжами. Сеас телекинеза. Она - такая. Он - такой. Слоган. Сестра-жизнь, Отец-Бог. Пространство - я, время - я. Платон Каратаев - грузчик, Родион Раскольников - менеджер, Павел Иванович Чичиков - директор фирмы, дорабатывают до пенсии.

Великий брат

Ну, у меня уже есть три великих героя, чиновник Государствов, предприниматель Зонов, бытописатель Живов. Нужно ещё только чтобы они стали братья у жизни. Но разве я начальник жизни, чтобы решать такие вопросы. Я могу только пересказать биографии. Как трагичный герой Макбет сказал, что он всё может, и тогда стал подставлять всех, и сам не заметил, как себя подставил вместе со всеми, потому что он не читал литературу и не знал, что он все, хоть и крестился в церкви, когда надо. Как драматичный герой Лир хотел быть всегда первый, но не знал законов (что вторые ненавидят первых), и за это попал на зону. Там 8 лет пробыл, потерял всё, что может потерять смертный, веру, надежду, любовь, и приобрёл за это, да простит мне провиденье эту полуподпольную торговлю, великого брата, себя. Как божественный герой Гамлет сначала был смотритель на острове в Белом море и художник, вырезал из капа, берёзового нароста Бога Саваофа, божественную любовь. Потом стал менеджером в фирме в городе Мегapolis в стране Апокалипсис, забрасывал ноги на экран дисплея и говорил, да пошло всё на хер, и сам становился божественной любовью. Потом стал юродивым в одном отечественном захолустье, в котором иностранные туристы сразу разбредались, сходя с трапа «Атлантиды». Европейцы шли фотографировать местных с абсурдно-божественным взглядом, а американцы помойки. А он шептал самому себе с перепоею, ничаво, малай. А вокруг него стояли дети и подавали ему письменные принадлежности для письма: чинёные перья, чернила, пергаментные свитки, а так же, чинёное платье, воду, чтобы освежиться, чистую посуду, чтобы подкрепиться. И сразу продолжать прерванную вдохновеньем работу. Дописывать первый том стотомника мемуаров, какие люди раньше были, чтобы их не забыли. Потом вернулся в столицу и стал жить тихо-тихо. Ему скажут, надо убрать листья на участке, потому что осень, он убирает, чтобы не было скандала. Ему скажут, надо помогать жене, дочке и теще, чтобы у них не было психоза, невроза и мигрени, и он помогает. Ему скажут, надо издавать книгу, чтобы не быть без прописки безработным, и он издаёт книгу

про то, что по звезде, на которой она родилась, ходит мама и говорит отдельно, строй общину, Генка, из себя, потом ещё подтянутся. А вокруг живут люди и главное их чувство, что здесь живёт автор.

Собирательный образ

Антон Павлович Чехов, актёр, играет любовь, но любить не может. Катерина Ивановна Достоевская, зритель, наслаждается игрой и любит. Фауст и Гретхен, сумасшедшие нищие, ходят по электричкам и собирают деньги на издание германского русскоязычного журнала. Соловей и соловыха, сначала соловья кошка Даша Бегемотова задушила в пригороде Мытищи, когда Соловуха везла ему три белых калы в пригородной электричке на пятнадцатилетие супружеской жизни. Потом кошку Дашу Бегемотову собачья свора задрала на участке, потому что у собаки Блажи Юродьевой была течка. И она теперь в Мюнхене под сливой издаёт новую книгу соловья «Как у меня всё было» в германском русскоязычном журнале, на который безумные нищие Фауст и Гретхен деньги собрали по электричкам.

Антигона Московская Старшая и Антигона Московская Младшая поют песню Акеллы в шестикомнатной квартиры для приемственности поколений. Маугли и Сталкерова Мартышка гуляют по Старым Мытищам за руку, папа и дочка. Маугли домохозяин. Сталкерова Мартышка пишет стихи про счастье и сжигает. Глухонемой Гамлет служит смотрителем необитаемого острова в Белом море. Платон Каратаев работает мебелью на построенье. Дезоксирибонуклеиновая кислота болеет эпилепсией. Адам подрабатывает грузчиком в фирме. Ева работает учителем в школе. Читатели не умеют читать. Автор двигает предметы взглядом. Великая сестра Смерть работает редактором в одном московском издательстве. Мама причитает, у бездны нашлось дно, это ты. Папа, первородный грех, считает, что надо начать всё сначала. Русская литература и христианская цивилизация побеждают друг друга на ток-шоу и так, хотя никаких данных за это. Великий брат Спас Рублёв в 12 часов ночи делает звук тише из сострадания. Бог смотрит мультфильм про вдохновенье и плачет.

Дезоксирибонуклеиновая кислота

Что это всё никуда не делось. Мама, которая 30 лет в одну точку смотрела, стоило или не стоило рождаться. Папа, который перепутал несчастье и счастье. Дедушка, которому велели идти и умирать молча, он шёл и умирал. Бабушка, которая в 87 лет поняла, что это она во всём виновата. Список может быть продолжен до 33 русских колен, 33 византийских колен, и дальше. Мальчик Гена Янев, следующее звено в цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты, не работает и видит, как он в 6 лет в ухаля превратился, когда болгарская бабушка Лена кричала на болгарского деда Танаса, пьяная свинья, опять нализался, то он рядом кривлялся, пьяная свинья, пьяная свинья. Как он в 12 лет в расколовшегося превратился, когда из Польши приехал цинковый гроб и контейнер книг, иллюстрацией мысли, что жизнь на самую драгоценную жемчужину в здешней природе человека разменять велено, кем велено, и он во двор перестал выходить, кем велено, и в 10 классе по мячу не мог попасть на футболе. Как он в 18 лет в смертника превратился, сунул в сапог ногу на утреннем построенье, а там мочи полное голенище, остальное сразу же приклеилось к той тоске в животе, которая началась, когда же она началась? Как он в 24 года превратился в воскресшего, когда Соловуха Соловья 17 лет своей кровью кормит, потому что он на 17 колене помер. Как он в 30 лет превратился в счастливого, до чего не дотронешься, всё сразу же делается бессмертным. Мелитополь, Мценск, Москва, Мытищи. Соловки, Сортовала, Старица, Сегежа. Индейцы, инопланетяне, мутанты, послеконцасветцы. Сезонники, дачники, местные, туристы. Ухари, расколовшиеся, смертники, воскресшие. Постмодернизм, неохристианство, трагедия, драма. Шут короля Лира, труп Антигоны, Мандельштам Шаламов, Сталкерова Мартышка. Как он в 36 превратился в персонажа, как все в 42 превратились в персонажей, остался один язык, который между Бог, Бог, Бог и бла, бла, бла - местоимение, имя, это это это, как юродивые узнают, что они

жлобы, как жлобы узнают, что они юридические без твоего звена в цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Сказка

Тогда всё сразу становится ясно, с этими ночными подъёмами в казарме, потому что должен быть виноватый, с этим гравированием на воздухе слов, которых нет на свете. Это ведь не я, это папа, который как Александр Македонский перепутал несчастье и счастье, это мама, которая как Иисус Христос 30 лет в одну точку смотрела, стоило или не стоило родиться. Дальше я почти ничего не помню. Бабушка Поля, которая в 87 лет решила, что это она во всём виновата, что мир таким получился. Дочка Аня, которая в 15 лет восклицает, что её прёт от Соловков. Соловки, которые сначала были остров в Белом море, потом монастырь, потом зона, потом община, а теперь спина рыбы. Я приезжаю каждое лето с 96-го, сначала сезонником, потом дачником, потом местным, потом туристом, надеваю брезентовый рюкзак со спущенной резиновой лодкой, сажусь на велик, еду по узкоколейке, лесной дороге, где больше всего умирало во время зоны и до сих пор в тайге беспризорные кресты 6 км, потом пешком 2 км до озера Светлого Орлова. Накачиваю лодку, отгребаю от берега метров на 20, сбрасываю полиэтиленовый пакет с камнем на верёвке, чтобы волной не сносило, это мой якорь. Разматываю леску 0,4 без удочки с одной мормышкой, червяка наживляю, отпускаю метров 10 в перламутровую воду с оттенком цвета глауберовой соли. Внизу всё видно, как у самого дна разворачивается драма, и засыпаю. Потом просыпаюсь, поднимаю камень, подгребаю к берегу, оттаскиваю лодку в нычку, беру потяжелевшую сумку и, читая стихи или молитвы, делаю шаги обратно. Но дело в том, что сон уже во мне и я словно двигаюсь в две стороны одновременно лет уже 10, внутрь и наружу. Как я могу рассказать сон, фрейдистский, постмодернистский, неохристианский. Что я сижу на спине рыбы, что к моему крючку подплывает рыба, у которой на спине я сижу, что эта рыба я, что она проглотила, что я-рыба вытаскиваю себя-рыбу себе на спину и счастлив как придурок, что получилось. Бред какой-то.

Доказательство бытия Божия

Бабочка, у которой ножницы на спине и голове, рот и крылья, видно, одно другим вырезали, с лицом индейчонка Никиты Второго, соседа, ему год, это его земля, подаренная мне на 7 апреля женой Родиновой Марией, декабристой, отогрелась на солнце и стала в стекло биться, потому что вчера было холодно и она прикинулась мёртвой, застыла, съёжилась и стала смотреть в одной ей видную идею из пергамента и зелёных соплей. Потом позвонила Мария и сказала, что она у мамы, Орфеевой Эвридики, тётки, брата, помогает ей прибраться после ремонта. Почему так рано, Мыря, тебе стало херово? - сказал я. Нет, было 4 урока, а ученика я отменила и на спектакль решила не ехать с Катериной Ивановной Достоевской, где три дамы, одна пьющая, другая наивная, а третья на роликовых коньках с юридической улыбкой играют пьесу Антона Павловича Чехова «Как закалялась сталь», чтобы что-то было. Я сказал, брешешь, наверное верёвка на шее шевелилась, как у мартышки, которую обижал грубый шарманщик, и твердоты в груди ныли, и внутренние органы сотрясались от постоянной работы и непрерывного износа. Она сказала, Аня пришла? - про Майку Пупкову, дочку, музу. Приходила с девочкой с концерта, где они «Скорпионс» пели для соревнования по английскому языку, хотя какой смысл, они всё равно все соревнования выигрывают, на полторы головы меня выше, пописяли и пошли в «Макдоналдс» вместе с остальными, которые их на улице ждали.

Итак, а что такое 7 апреля, спросите вы, глаза, глаза, глаза, вселенная, сварожики, уста, которых нету, что тебе сделала такой подарок подруга? Просто день, отвечу я, не хуже, не лучше, бабочка развернула свои крылья, доказательство бытия Божия, и стартовала с моей ладони в приоткрытые двери нашего жилища. Я выпил таблетку анальгина и приступил к работе, свернулся на топчане на веранде как в утробе. Мне снилось как девочки на полторы головы меня выше смотрели на мою спину за компьютером на веранде, книги, фотографии, иконы, рукописи, картины, цветы, куклы,

глаза, глаза, глаза, вселенная, сварожичи, уста, которых нету. Что-то они увидели такое, что мне во сне стало приятно, другую жизнь, ребёнка, дядьку, который не умеет улыбаться, Экклезиаст, Апокалипсис?

А да, я вспомнил, я просто тянул резину, а потом бросил, а потом вспомнил. То, что было в 95. А потом не получилось дальше. Я пошёл на завод работать. Потом на остров уехал. Потом вернулся и мы стали жить в этом доме, потому что перестали бояться неблагополучия и благополучья. Паук в углу, Ставрогин, который из всего соки выпьет, а потом будет валяться в углу сухой и пустой, а жизнь как и раньше будет несчастье и счастье. Девочки на полторы головы меня выше это знали. Что они ещё знали? Как себя из жизни иссекают. Как жизнь из себя иссекают. Как жизнь из жизни иссекают. Как себя из себя иссекают. И всё для чего же? Я не знаю как это объяснить. Представьте, вы бабочка, вы бездна, вы живёте, стало очень тепло, потом ударили морозы, одна рука вас взяла и пересадила на тёплый подоконник с цветами, когда вы уже видели точно лицо вечности, этой бабушки в регистратуре центральной районной больницы. Опять стало тепло, вам стало беспокойно, вам захотелось движенья жизни, чтобы не думать о регистратуре, но стекло вас не пускало, и тогда другая рука, грубее, вас прижала и внутри себя раскрылась, и всё, кругом одни глаза, лона, уста, платья, а ночью можно будет думать о двух девочках на полторы головы выше, как они писать приходили и про всё это знали.

Пароход «Историк Морозов» и пароход «Капитан Останин»

На сорок первый день рожденья мне подарили три женщины-парки, жена, дочка, тёща, три подарка. Жена Мария ангела из глины, кованого железа и стекла и книгу воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы поэта, которая теперь библиографическая редкость, потому что жизнь слишком другая и её не переиздают. Тёща Эвридика 2 тыс. рублей на книги для работы, которыми весь стол завален, новая русская литература, которой нету, как сказали по телевизору на ток-шоу для сенсации, кормушки и потому что по барабану. Дочка Майка Пупкова подарила самый дорогой подарок, новый книжный, когда лежала в больнице, сказала сходить ей за книгой, в гипермаркете с бассейном, кинотеатром, сауной и стриптиз-баром на станции Мытищи, на том самом месте, на котором я привязывал собаку Блажу Юродьеву - Поблядушкину, когда шёл на рынок для обрезками для неё и фруктами для нас и она перед местными густопсовыми и чистопсовыми паробковала на поводке на пеньке. И они смотрели на неё с поляны под вождём, что за придурок? Знающие про жизнь всё, с культями и иерархией, как бомжи и урки, что жизнь это течка и одиночество. И что самое большее, что вы можете из неё выжать, как вождь, засранный голубями, всегда напоминает своим взмахом на всех вокзалах страны, это созерцанье.

Так вот, про книжный в Мытищах. В Мытищах был книжный, на улице где принимают цветные металлы, пустые бутылки и строят электрички метро. Там продавщицам было даже лень поднять мухобойку, так они и опухали, пока не разматериализовались эмблемою неподвижности созерцанья ничто на свете. Это другой книжный и вот почему я говорю, что это дочкин подарок, потому что деньги-то у меня были, 2 тыс., тёщин подарок на сорок первый день рожденья. А вот подвижническое созерцание всего, как у Блажиных конгрессменов с культями и иерархией, бомжей и урок, в лужах мочи и пива под Лениным на лужайке, где раньше было чаепитие в Мытищах, а теперь Лос - Анжелес, мне не попадалось в книгах. Там таких книг много, называется, современная русская литература новых издательств, две полки. Не говоря уже про то, что я перепису адрес издательств на имейле и pošлю им по интернету рассказ этот. Эмблемою того, что жизнь никогда не другая. Подарок на сорок первый день рожденья. Ангел из глины, стекла и кованого железа. «Что это утконос? - Нет, это ангел. - Какая прелесть». Книга воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы поэта, всю жизнь писавшего про то, что жизнь - подарок, возможность «ещё пожить и поиграть с людьми», между самоубийством и убийством, которая пережила мужа на 50 лет и внесла много уточнений. 2 тыс. на новую русскую литературу и книжный с новой русской литературой про то, что новая русская литература просматривает новую русскую литературу, за которой присматривает новая русская литература, одноклассницы дочки, которые подрабатывают на летних каникулах у мамы одной из них, старшего менеджера

магазина Терпелюка.

Я думаю, почему я всегда так волнуюсь, когда прихожу в этот книжный, боюсь, что подумают, что я воришка или сумасшедший, потому что стою слишком долго возле одной полки, или наоборот, замерзаю от того, что созерцание всего и ничто ещё нельзя уравновесить, что бесспорно могли мои предшественники в этом месте, Барбос и Шарик, чистившие грязь грязью. Что если я буду чистоту чистотой чистить, не получится ли грязь на свете? Когда я служил грузчиком и был писатель, это просто юродивый дядечка с бородой смотрел, чего больше на свете, чистоты или грязи. А теперь на меня смотрят, чего больше на свете, красоты или юродства. Во всяком случае, все сразу заболели, как только я стал одной русской литературой. Жена Мария, аневризма сонной артерии, неаневризма сонной артерии, диагнозом. У дочки Майки Пупковой хромосомы-шромосомы на ноге не так соединились и хирурги иссекали. Тёща Орфеева Эвридика евроремонтом заболела. Или это просто русская литература живая. Я не знаю.

Я буду ездить в лицей нетрадиционных технологий к жене на работу, где учатся дети генералов и банкиров, чтобы посылать по интернету в новые издательства и редакции свои стихи, эссе и рассказы, потому что старые перестали работать, читать новую русскую литературу и смотреть в глаза людям, Шариковым и Робин Гудам, чего в жизни больше на улицах пригорода, чистоты или грязи. А на самом деле, на каком пароходе я поплыву в вечность, на пароходе «Капитан Останин», который в конце навигации на острове Соловки в Белом море шёл заводить катер чужой, вмёрзший в шугу, перевернулся на льдине, но успел сказать русскую литературу, ребята, кажется, я тону. Или на пароходе «Историк Морозов», который всю жизнь занимался русской литературой профессионально, но успел сказать по телевизору в фильме русскую литературу перед смертью, человек это вера. Ведь, и то и другое неплохо. Ведь, главное, что содержится и в том и в другом сообщенье, что русская литература всё время, чего же тогда волноваться, смотрит на тебя русская литература или не смотрит и что она подумает, кто ты, чмо или бэтмен.

2004-2006

Часть 6. Я

Фуф

На завтрак две варёных сосиски и два яйца вкрутую, на обед белые щи, на ужин яблочный пирог шарлотка с чаем, для ночного перекуса над книгой Сэлинджера «16 хэпфорда», два пирожных «трубочка», два «эклера» с заварным кремом, две слойки с клюквой с чаем с лимоном.

Утром переписать рассказ «Око Господа» начисто, перепечатать на компьютер 37 главу повести «На пенсии», прочесть повесть «Соловки» трёхгодичной давности, лекарство от забвения. Была реклама в аптеке, я рассказал Марии, мы очень смеялись: на остановке автобуса стоит дядечка в шляпе, с портфелем, галстуком, зонтом, в пиджаке, носках, сандалях и без штанов, конфуз среди прохожих, надпись на рекламе, чтобы не забывать, хренолин. Вот так и у меня, чтобы не забывать, повести, рассказы, романы, стихотворения, элегии, оды, эссе, статьи, учебники на самом деле письма никому никому, папе, маме, бабушке Поле, Николаю Филипповичу Приходько, военному матросу в отставке с Соловков, который лёг полежать на топчан после сытного обеда в гостях у дочки в Кирове и умер. Жена Надежда говорит по телефону, куда вы его дели, я вам его живым посылала.

Пете Богдану, писателю, мануальному терапевту, врачу, написавшему медицинскую, беллетристическую, философскую, исповедальную книгу, как прожить 150 лет, себя простить, на мостик стать и спать уйти от интеллигентского противопоставления, тварь ли я дрожащая или право имею. Попенял супруге, что пыльно в доме, задыхается, лёг и стал баловаться, издеваться, что помирает, пока она поняла, что всё на самом деле, пока приехала скорая, он уже отошёл, недавно отмечали его сорокалетие, теперь уже мне столько, тоже «проблемы со здоровьем», у подруг жены мужья тоже кругом доходят. Это что такое? Кругом инфаркты, эпилепсии, вялотекущие онкологии, церебральные параличи.

Антонине Мельник, главному редактору газеты «Соловецкий вестник», жене Самуилыча, другу Седуксеныча, которые друг друга не любят, соседи в коммунальном бараке, за то, что один думает, что всё по настоящему, другой думает, что всё не по настоящему. Друг друга глушили музыкой в отместку на полный оборот руля, Седуксеныч Самуилыча Башлачёвым, Самуилыч Седуксеныча Цоем. Один писатель, который не пишет ни хрена, другой резчик по дереву, не ремесленник, а поэт, мыслитель. Один пьёт и живёт с местным дном, сначала не пошёл в монахи, потом от такой жизни не уехал к матери, потому что на кого же он кошку Анфельцию и пса Левомиколя бросит. Другой переехал на зиму, а потом на весь год в Москву для перфоменсов, сезонных работ и информационных потоков, и чтобы обеспечить долгую просветлённую старость себе и своему гуру, который в нём встроен в чакрах.

Она похожа на Александра Башлачёва, ничего не боится и всё понимает. Мы недавно делали ремонт в нашем неблагополучном одноэтажном доме, последнем в Старых Мытищах в дочкиной комнате, клеили обои, шпаклевали стены, клали линолеум, дочка включила магнитофон, я разлюбил шум, любой, музыкальный, словесный, кроме шума дождя, прибоя, ветра, веток, но тут подумал, надо же, Башлачёв казался самым прямолинейным и наивным. Что Цой с гитарой, Гребенщиков с медалью, Шевчук с фонарём только его переложенья на язык сцены, искусства и государства. Она улетела в 97м, когда мы с шестилетней Анькой и рюкзаками приехали сторожить хутор не за деньги, только бартер, душу в обмен на душу, деньги всё время обманывали население, на протяжении лет десяти.

Сергею Морозову, пароходу, тогда он был экскурсоводом, который в одном документальном фильме перед смертью говорит, что неверующих нет, потому что время это ответственность за место. Капитану Останину, пароходу, мы с ним из разных тусовок, он из простых, я из сложных, он пошёл выручать корабль по первому льду, заводит заглохший двигатель и сказал в тумане впереди, ребята, кажется, я тону. А я догадался, что вот кого, на самом деле, называть пароходом надо было, капитан музейного катера - работяги, теперь капитаном бывший брат Богемыч. Майору Агафонову, начальнику Соловецкой милиции, которая всегда на высоте была и осталась в деле розыска и профилактики преступлений. Если не дети Глядящего со стороны обворовали, значит дети Рысьего глаза, третий вариант самый вероятный, что все вместе, и ещё один срок условно, потому что не сажать же. Да здравствует Соловецкая милиция, самая Соловецкая милиция в мире, да здравствует патриархальный уклад, самый патриархальный уклад в мире.

Советские здравицы мне напомнили постмодернистический перфоменс. Когда новый директор музея открыл обширную пропаганду под это дело подписались отечественные художники и их друзья из-за кордона. Потом эту контору прикрыли, потому что эта лошадь тянула в совсем другую сторону. Называлось: Артангар. Приезжали художники, музыканты, поэты откуда угодно. Сначала на свалке и помойке выросли трёхметровые игрушки из свалки и помойки, что жизнь, оказывается, свалка и помойка, из которой каждый раз получается конфетка энергией новых подростков, а потом снова свалка и помойка.

Потом два муляжа на разрушенном причале рыбу ловили рамой от сети, а рядом сидел грек Костанжогло военный моряк в отставке, мой земляк, запорожец, с женой, настоящие, живые, забрасывали снасть на треску, смотрели на закат и думали, что жизнь это искусство, надо только быть хитрым и местным, чтобы уметь распорядиться прожить уютно. Муляжи были не согласны с такой трактовкой искусства, но молчали. Они думали, если всё по настоящему, Спаситель, действительно приходил на землю, зачем говорить слова и беситься, нужно молчать и молиться, и тогда история станет природа, а природа история. И по-своему были правы.

Так думал я по соседству на Тамарином причале одной ногой в могиле всю дорогу, потому что папа болгарин, а мама русская, потому что папа эпилептик, а мама юродивая, потому что папа кололся и тащил воз по жизни, а мама всю жизнь любила Москву как чеховские дамы и мужчину с иконописными чертами, потому что спала под божницей в детстве. И вот я был москвич, соловчанин, писатель, рыбак, одной ногой в могиле всю дорогу, переглядывался с другими рыбаками, кто больше ловит, а на стометровой смотровой вышке на Тамарином причале был другой постмодернистический перфоменс. Музыканты из ближнего и дальнего зарубежья играли джаз на саксофоне и конструкция причала вместо ударных, в небо несло вместе с шумом: да, конечно, в нас есть мусор, но рядом с этим морем, прошлым, кровью, несправедливостью,

халтурой, фарисейством, крестом Господним, всегда раной разверстой в воздухе, разогретом год от года сильнее, всегда фомам неверующим в уверенье, наши переглядыванья с рыбаками, кто больше ловит селёдки на пустые крючки, словно у селёдки сеанс массового суицида. На самом деле сразу глаза отводим, лишь только глаза натываются на глаза, потому что эти напоминанья неуместны, литература. Все и так всё знают и про то, что в лабиринтах одиночества смерти я только лабиринты бессмертны, сколько живого сумеют взять в себя, столько останется живо. Молитва, «скорей бы смерть», и молитва, пытка счастьем чтобы продолжалась. И что, в конце концов, это не наше дело, кого кто больше любит, Христа или Иуду.

Поэтому директор музея прикрыл эту контору, искусство становится всё меньше органичным, всё больше юродивым, сплошные трупы. Ему для отчётности нужно было другое: ярмарка тщеславия жизни. И он её устроит. Будут ходить корыстные торговцы и выдавать грязь за культурные наслоения и даже не ведать насколько они не жулики, а правы. И дамы в салатных мини-платьях с мобильником в одной руке и банкой пива в другой, с драконом на поводке, с тоской в очах по принце, ланцелоте, женихе из сказки и рассказывать по мобильному телефону никому никому, что здесь весело и много приключений, а вчера так наелись sake и cote, что сегодня руки трясутся на распродаже. Литературный жанр, жизнь рассказывает жизни, что жизнь происходит во время жизни, а вовсе не приспособление делового человека мобильно решать вопросы.

Соседка, Гойя Босховна, говорит, Никита, я ввела вас в заблуждение, завхоз Вера Геннадьевна сказала, что деньги за ремонт квартиры по товарным чекам возмещаются только владельцам неприватизированных квартир, а у вас приватизированная. Я сказал, да мы особо и не рассчитывали. Она сказала, ну чё, они бы вам помешали, лишние деньги. Я сказал, мы бы не отказались. Она сказала, но ничего не вышло. Я сказал, ну и хрен с ним. Она подумала, парень, конечно, хероватый, потому что не наш, но для него ещё не всё потеряно, славный. Я подумал, «фуф».

Ну, я понял, да, я понял. Про два я. Попробуй, расскажи. Рукопись. Деньги. Работа. Дом. Книга. И рядом, жанры, нищета, юродство, болезнь, смерть. Я боюсь. Не бойся. Ещё есть время. Ничего не бойся. Зоны, наслаждения, истерики, одиночества, ничего не бойся, ты с нами. Что я два, я и не я. Не я - не я, потому что в нём столько я, сколько есть на свете будущих, бывших, нынешних деревьев, рыб, имён, сплошная линия горизонта, папа, мама, Сталкерова Мартышка. И я перестанет быть я, настанет смерть, когда я перестанет бояться смерти. Что я не станет, замучат, устанет, разочаруется, восхитится. Так что я это как болезнь, оно всё понимает, но ничего сделать не может, оно ещё не умерло, надо терпеть.

Драма

Нелепость распускает лепестки
 Во всём, что тайно ждёт плодотворенья
 Когда душа больна и нечутка.
 Наверное, становятся поэтом
 В налитой тёмным воздухом природе
 Теперь, когда не больно видеть.
 Когда рубцы все вобраны и впиты
 Одной большой нерастворённой болью
 И отодвинуты дарующей рукой.
 И вечно молодое нежно хочет
 Свои новорождения осмыслить
 Сей кажущейся мертвенностью слов.
 Что ж, предъяви тогда свои услуги,
 Но не забудь, откуда ты пришёл.
 Из третьей Московской элегии.

А что я могу решить? Я уже не смогу выбраться из этого круга, Соловки, Мытищи, Москва,

Мелитополь, индейцы, инопланетяне, мутанты, послеконцасветцы. Может быть другие, а я нет. Но, в общем-то, этого и не требуется. Я просто должен решить, что я должен сделать, и так сделать. Одно это подарит такой благодатью потщиться, сколько ты можешь, никто не требует больше, ни Христос, ни Иуда, что на этой энергии и благодати напишутся ещё 33 романа, вот тебе и занятие на пенсии по инвалидности. Он заслужил покой, он не заслужил света, Булгаков не понял, такой покой превращается в безумное беспокойство, каждые 20 лет слать с того света телеграмму вдове, «фразу Сталину в финале убирайте», «фразу Сталину в финале вставляйте».

Ну, например, я не должен лезть в начальники. Да я и не могу туда полезть, для этого нужен другой живот, живота только два, с дырой в животе и кубиками. Конечно, их очень много, но не нужно много путешествовать, чтобы понять, что вся полнота животов исчерпывается этими двумя животами и их свойствами. Что я буду делать со своей дырой, вот это собственно и есть занятия, одной дырой уловлять другие дыры. Прочсть «Медею» Эврипида и подумать, на острове Советский в Северном Ледовитом океане живёт Вера Верная, вождиха, несамоубийца, неубийца, жена мужа, мэр города. Она за ним пошла как Медея за Язоном, девочка за мужем на край света и родила от него четырёх. Потом он её предал, но она его не бросила, ушла в изгнание, дала ему очухаться, вернулась с детьми, стала начальница.

Он теперь прибежал ко мне и повёл червей копать, чтобы я не подумал, что у местных червей не выпросишь из навоза и что это очередное предательство. Она в церковь не ходит, но если и есть где православие, то вот оно. Что я могу ещё сказать? Было ли искушение Медеино, когда вьюшку на угарной печи задвинула, чтобы всем уйти. Как в последний момент очнулась, вытащила всех на снег, кричала, «не спать», плакала, тёрла снегом детей. Что я стукач? Что это было за излучение?

5000 лет назад на остров Большой Советский в Северном Ледовитом океане приплывали берсерки со светящимися глазами от обжорства мухоморов и белоглазая чудь, женились друг на друге и каменные лабиринты строили про то, что лабиринты одиночества смерти я бессмертны после тупика и озарения как у Льва Николаевича Толстого в рассказе «Хозяин и работник», стало быть, и перед этим. Как 500 лет назад монахи это видели в образе православного святого митрополита Филиппа, который всё мог как Маугли, и соборы строить, и себя закланывать. Как 70 лет назад здесь ленились даже расстреливать из минимума гуманизма, мол, нам тоже умирать, сталкивали с горы с бревном на ноге, умрёт и так. И правда, пока летел из белогвардейца, красноармейца, батюшки, крестьянина превращался в ангела.

Мне же остаётся только видеть. Безумная Вера Верная выбегает из березняка на Плотичьем озере, «ага, попались», говорит. «Иногда прихожу на ночь, а потом не могу уйти, хоть там вопросы не решаются, сижу до следующего вечера». Хоть там в озере вокруг голого крючка окуни, язи, плотва с ртами как буква о плавают и недоуменно пожимают плечами, мол, чё она? Пока с неба сходят ангелы с резолюциями. Мария пришла к начальнице просительницей и говорит, мы вам ещё не надоели? Такая светская фраза есть. А начальница начинает плакать, и руки целовать, и рассказывать эту историю, которую я вам рассказал, не стукач. А я думаю, это и есть страна, единство неэкономическое.

Я думаю, неужели уже начался третий век русского ренессанса, а я как-то пропустил за припадками, самая словесность, самая социальность, самая слава, русские слоны самые слоны в мире? В поколении дедушек за хорошую книгу убивали, в поколении отцов за хорошую книгу сажали в психушку сначала, а потом высылали за бугор в тьму внешнюю, в нашем поколении про хорошую книгу делают вид, что её нет и даже не делаю вид, что ещё обиднее. Это как в анекдоте про неуловимого Джо. А почему он неуловимый? А кому он, на хер, нужен. А потом я думаю, что это как рай земной, на грани ереси, после всего. После апокалипсиса всё превращается в сплошной кайф, душе надо как-то быть с собой, какие-то занятия, книгоиздательство, учительство, пенсионерство, мэрство.

Приходит Чагыч и говорит, сначала нищетой надавили ангелы, потом начался исход, потом эпидемия смертей, самоубийств и прелюбодеяний подчёркивали начало нового режима, который можно назвать так, искушение корыстью, и вообще. На острове Большой Советский в Северном Ледовитом океане, после искушения властью и искушения безвластием, и вообще. А я думаю, да нет, мне нужно только ездить и рассказывать никому про своих героев, Мелитополь, Мытищи, Москва, Соловки, индейцы, инопланетяне, мутанты, послеконцасветцы. А деньги, книги, дети,

дома, женщины, машины это как работа, но не моя, а страны, если есть страна, а Чагыча, если нет страны.

Я беру на себя, что я буду видеть, он берёт на себя, что он страна. Что это всё один раз. Что после следующей любви ещё будет следующая, и что наши дети, добрые и злые юридические, станут ангелы и будут с звезды на звезду перелетать и думать тоску, которая ничем не отличается от нашей казённой, как я в армии, когда старшина Беженару достал месяцем гауптвахты и полугодом нарядов вне очереди, смотрел в упор на стену в казарме, плакал и думал, одно из двух, или я всегда, или она всегда, и мне становилось жалко себя, её, старшину Беженару, страну. Именно это я и называю островом Большой Советский в Северном Ледовитом океане, именно это я и называю, Неуловимым Джо, писательством.

Куда 5000 лет назад приплывали берсерки, 500 лет назад не пускали женщин, потому что они нечистые, а мы чистые, 70 лет назад надо было сначала всех убить, а потом пустить себе пулю в лоб, чтобы уже на земле настал наконец рай. На самом деле, для одного и того же. А языческий бог Бер подглядывал из-за берёзового ствола, а я оборачивался и думал, вор или оборотень, когда жил на острове зрителем. За чем я там смотрел и просмотрел я или не просмотрел? Не знаю, мне кажется, что там и нет никакого меня. Папа, да, с его скорой помощью, психушкой, армией, подставляться, подставляться, службу тащить. Дедушка, да, и один, и другой, с его, твоё дело умереть, когда тебе прикажет родина. Если там и есть какой-то я, то это стена, страна, казённая. Мне кажется, что когда Чагыч это понял в 60 лет, то он стал беситься. С другой девочкой на Альфа Центавров улететь и там основать общину бессмертных, как раньше с предыдущей девочкой на острове Большой Советский в Северном Ледовитом океане. Но Вера Верная его победила, а бог Бер стал с лицом Христа, а кругом летают ангелы, по данным общества «Память» 175 тыс., по данным некоего мистического источника 3000000, но в масштабах всей страны эта цифра вырастает до 100 000 000, вместе с войнами и переселениями. И всё мало, история продолжается, чтобы дети Веры Верной и Чагыча стали тоже с лицами.

Ренессансная мадонна и Постсуицидальная реанимация, которые как Лия и Рахиль, жёны Якова, обе понесли. Одна каждый день рождает, чтобы чужое стало своё, другая станет монахиня, потому что чужого не окажется. Братья Саам и Ирокез, мы все рождаемся индейцами, знающими, что мы не главные, а земля главная. Потом в течение жизни получается, что мы главные, а земля не главная, и мы делается инопланетянами, драим машину до янтарного блеска, а тряпочку за забор выбрасываем, в тьму внешнюю. Так мы попираем главное, что индейцы приходят не из ниоткуда, а из матери, и главного не становится. Так мы делаемся мутантами, у которых нет главного, богоборчество, любимая тема Достоевского, как автоматчики охраны одежду Христа в преф разыгрывали в моей сторожке на Хуторе, пока Ноздрёв и Чичиков, гоголевские герои, начальники лагеря особого назначения, Ногтёв и Эйхманс, решали, какой смертью казнить Христа, политической или уголовной, посмертно реабилитированного.

Я пишу с натуры, это четыре семьи в одном неблагополучном одноэтажном доме, последнем в Старых Мудицах. № 1, Грибов, 120 кг живого веса, говорит, жена умная, дочь красивая, чего тебе ещё делать, ходи, рисуй как видишь. На предыдущей квартире сосед Комиссаров говорил, рисуй, тебя никто здесь не тронет, местный тысяченачальник, почему-то они решили, что я художник. Грибницева, Грибёнков, Грибёнков Никитка Второй, индейцы вырождаются, спиваются, ругаются, но ещё помнят, что это было, явно было, главное. № 2, Гойя Босховна Западлова, Базиль Базилич Заподлицов, дочка Цветок, инопланетяне, по-настоящему не получается ни погубить, ни полюбить. Это единственный наш залог, если злодейство уже было, то его уже больше не будет. № 3, Пьянь, Срань и Дама, как ни странно, я подумал, будет свадьба у дочка Цветка, на свадьбу не позовут из квартиры № 3 и из квартиры № 4, мутанты и послеконцасветцы, потому что одни слишком свои, водка, бабы, наркотики, другие слишком чужие, сплошные книжки, картины и разговоры про умное, что всё главное, что неглавного просто нет, что это, конечно, ещё не последняя серия, да её и не будет, последней серии.

Что я и не я тоже неглавное сначала, как у мутантов, а потом главное, как у послеконцасветцев. Они оказываются ближайшими сподвижниками. После конца света всё зона, хоть материнская утроба, хоть нимб вокруг всякой головы. А потом казённая, армейская, казарменная стена начинает посылать благую весть. Старшина Беженару кричит, рядовой Янев, вернитесь в строй,

кто-то говорит, да пошёл ты, пидорас. Саам и Ирокез, братья, сыновья Веры Верной и Чагыча, местных вождей, должны сначала сделаться индейцами, потом инопланетянами, потом мутантами, потом послеконцасветцами, чтобы сначала любить любить, потом полюбить любовь, потом стать любовью любви, чтобы так бог Бер сделался Иисусом Христом. Чагыч и Вера Верная всё, что могли уже сделали, на конце света общину построили. Теперь дело в лице. Поэтому я там и очутился.

Чего я попрошу за рассказ, как за хорошо сделанную работу, медаль, у русской литературы, которой нет, про что один дядечка передачу снял по телевизору, который отвечал за то, чтобы она была. Я попрошу так, Господи, сделай так, чтобы Ма, Валокардинычиха, Седуксеныч, Вера Верная, Чагыч позвонили и сказали, Никита, ты почему не едешь, чёрт, ты же обещал. У нас тут без тебя плохо пошло. Хоть на месяц-то приезжай. Такие передачи делаются очень просто, приглашаются люди, которые кормятся смертью литературы, а ещё политики, шестёрки пахана-населенья, что, «девочку, мальчика, чесать пятки, романиста?», на ток-шоу «Русская литература мертва?», а в конце приделывается патетическая концовка перед рекламой, мол, ты давай, русская литература, трепыхайся там, а мы поглядим. А куда мы поглядим, если ничего, кроме русской литературы не осталось, вины и обиды, сплошное богословие, казённая, армейская, зоновская, казарменная стена. Дантова «Божественная комедия», Гоголь, Достоевский, Толстой, ад, чистилище, рай, любить любить, любить любовь, любовь любви. За хорошо сделанную работу медалью стать. Медали тоже бывают разные. Как у рок-музыканта Гребенщикова и как у генерала Лебеда. За заслуги перед отечеством четвёртой степени и за заслуги перед отечеством первой степени.

Потому что жизнь, кажется, уже повернула не столько на вторую половину, сколько на то, что всё по-настоящему и понарошку. Подростки ещё обижаются очень, как писатель в «Сталкере» Тарковского обиделся на Сталкера, «ты, лицемерная гнида, решаешь, кому быть любимцем, а кому лезть в мясорубку». И Сталкер, «я ничего не решаю, вы сами выбрали». «Что я выбрал, одну длинную спичку из двух длинных?» Так и подростки, чмить или быть чмимым, одно тошно, другое страшно, надо отмазаться как-то, а отмазаться нельзя. И вот моя драма, что всё это по-настоящему и понарошку. Что потом мы умрём и увидим, что всё это было понарошку, как проверка на гнилость, чтобы Бог стал Богом, а потом ещё стал Богом, а потом опять стал Богом, поэтому всё по-настоящему в жизни, как толстый сержант милиции в Мудищинском ОВД вставляет «ёбт» неизменно прежде всякой фразы, запаadlo, всё запаadlo.

Так я понял про драму, что драма действительно дальше, после комедии жизни, после трагедии смерти. Приходит актёр на сцену, который был Богом, не могу сказать смиренно частью, потому что как капля не сольётся со всей водою? И говорит, давайте, поднесите мне кайфы, и становится подросток. Не важно, кто у него папа, президент Сутин или бомж Аляска, смысл один и тот же, что он пуп жизни, а жизнь этого не знает, так начинается по-настоящему и понарошку. И вот природа театрального искусства, сценического наслажденья и катарсиса древних греков, чем лучше, тем хуже, чем хуже, тем лучше. Жизнь вознесёт и опустит, как я с подростками дрался на Соловках в Белом море на монастырском причале, что они сказали, не ссыте на моих жену и дочь, на себя бы стерпел, просто бы втянул голову в плечи и сделал вид, что задумался или не слышал.

А потом стал писать как заведённый книги про то, что мы умираем, включаем телевизор, а там белая рябь. И я себе придумываю всякие медали и наказания, чтобы не прекращать работу, потому что очень устал. Что поеду на остров в Белом море и там буду сидеть на камне, ловить рыбу, смотреть на деревянную церковь и петь частушки на пенсии по инвалидности в отпуске в командировке в ссылке. А церковь будет трястися, и остров будет трястися, и я буду трястися, потому что он не камень и не изверженье вулкана, и не конец света, а спина рыбы, которую я ловлю уже лет 40, не считая предыдущих 7000 по Библии и 30 млн. по биологической энциклопедии.

А что до конца света, то, что же, динозавров жалко и людей с именем и виною, а больше всех жалко тех, кто всё это вместит и станет ангелом небесным, бездомным домом для Бога, пока мы белую рябь смотрим по всем каналам. Вот работка, не приведи Боже, как у того милиционера, после которой только пить, спать и не просыпаться. Вижу ли я самого Бога? А заслужил ли я такую лычку? А потом, я, может, самый квёлый, как моя собака Блажа, юродивая и похотливая

как смерть. Посмотрите, все эти паханы, президенты, террористы, антитеррористы, грузчики, менеджеры, сыщики, редактора, индейцы, инопланетяне, мутанты, послеконцасветцы и их жанры. Трагедия, буффонада, шут короля Лира, труп Антигоны, постмодернизм, неохристианство, Мандельштам Шаламов, Сталкерова Мартышка, стукачество, юродство.

Они как мой папа и поэт Пушкин, много красивее меня, вот у них и спросите, но спрос должен быть аккуратный, чтобы они не начали ломаться как целочка на воздушном шаре, что они тоже заслужили отдых. Спросите их так, «что по-настоящему и понарошку?» И всё, а дальше, это как закрытые фонды бывшей Ленинской библиотеки и как уничтоженные архивы КГБ СССР: «Смерть есть? - Да». «Смерти нет? - Нет». «Жизнь есть? - Да». «Жизни нет? - Нет». «Бог есть? - Да». «Бога нет? - Нет». В общем, это как ксива, доставшаяся тебе от твоих папы и мамы, а им доставшаяся от их папы и мамы, там токо загвоздка с первыми папой и мамой, от кого они им достались, от динозавров или от Бога. А ещё это как криминальная крыша и государственная кормушка, сидишь на спине рыбы и тащишь её ей на спину, драма.

Седуксеныч и иероглифы

Димедролыч сказал, они - нищие, на московских художников после того как три года прожил в достатке и прослужил менеджером по закупкам в богатой фирме. Но там ведь вообще дело не в этом. Они - художники. Интересует ли их слава? Да, интересуется. Интересуют ли их деньги? Да, интересуют. Но само претворенье тщеславных интересов в рекламную показуху или место перед строем вкупе с местом в строю их мало интересуется, или, по крайней мере, как у Ивана из русских народных сказок, оно само. Они не лицедеи, им не нужны виноватые, за это у них есть хлеб и вино, всё остальное - их ремесло. Димедролыч и Гриша сами были такие, поэтому очень обидно, что они всё забыли. Я назвал это предательством, но можно взглянуть по-другому. Димедролычевы иероглифы после работы это тоска по художеству, по всему, вместившемуся в рисунок после работы. Гришино воплощение это реализованная Соловецкая островная мечта по жизни в мире, высокое ремесло за большие деньги, художественная работа за невысказанные деньги, перфоменсы, тусовки, люди, разговоры.

Я как раз про это. Мы недавно были на одном представлении (авторы и редактор) и ушли, потому что стало очень тоскливо. Чувство как у Димедролыча, они все нищие, только у меня, они все сумасшедшие, одинокие и не то что не держащие удар, а просто не подозревающие о существовании удара с его искушением корыстью и шаганием новой власти по старым головам. Я думал, таких уже нет, тем более в Москве, после 90х, но это как гоголевские байбаки, которые непонятно откуда повывезли на бал, когда Чичиков, то ли очередной проходимец, вор в законе, то ли будущий положительный герой, шороху наделал, короче, непонятно, то ли его надо выяснить, то ли он сам кого хочешь выяснит, как подростки смотрят, презирать или уважать вдруг. Видно жизнь сама себя всё время возобновляет, как гомункула из реторты, наивного и не боящегося смерти, только потом забоящегося, когда увидит, что кругом все боятся. Я говорю так брезгливо, потому что сам такой же и даже ещё хуже.

И ещё фраза. Он сказал, если бы не работать, когда я его спросил, не хотел бы он вернуться? Я опешил, для него то, что он делает - работа, по крайней мере, в тоне оправдания. А то, что было не работа? В общем, это понятно, артистизм и служба. Остался Гена, он как раз остался на острове Соловки в Белом море. Апломба больше нет, пьёт, живёт с пожилой дамой, пишет книгу про то, какие люди раньше были, чтобы их не забыли, уезжает ухаживать за мамой, которая болеет. В общем, история похожая на мою, только книги нигде не найдут про то, что сейчас он напишет такое, что все сразу станут хорошие, хоть раньше были плохие. И к маме не поедет, потому что у него нет Марии, так получилось, ему не повезло, а мне повезло. Я как соловей на ветке загипнотизировал соловыху и она уже 20 лет соловья своей кровью кормит, чтобы он продолжал работу, а соловьята им не верят. Зато так даже виднее природу артистизма, по Грише, потому что нет самого артистизма.

Есть вот это, что сказал Димедролыч, они же все нищие, и ещё, если бы не работать. Я это даже лучше вижу, потому что мне иногда кажется, что всё дело в единственности всякого слова, жеста,

минуты, что нас посылают, чтобы их испытать, поэтому само испытание как попытка. Я это лучше вижу из-за своих двадцатилетних литературных занятий. В общем, это как в детстве и юности находили такие минуты, что люди это такие благородные кони, которые посылают себя сами. Посылать, в наездничестве значит, устремлять вперёд. Или такие телепатические мартышки, которые видят, что было, есть и будет, но ничего не меняют в своей жизни, потому что, а зачем. Нищета не эквивалент богатства, а условие чистоты. Божественное неделание это такая работа. И не мне, прожившему в лесу на Соловках 8 месяцев, Димедролычу это рассказывать, прожившему на необитаемом острове в Белом море 7 лет. Директор фирмы тоже не может ничего изменить, он только может вместо «мицубиси» изучать иероглифы после работы и это будет уже странно. Гена всё может, как раз у него всё по настоящему, в отличие от меня, спрятавшегося за Марию. «Пьянство», «тоска», «животные», «мама», «женщина», «литература». Вот настоящие иероглифы, когда всякое слово больше себя как дела, протекающего единственно. «Вино» не просто вино, а ещё отчаяние, вина и люди, такие как на зоне, доведённые до скотства, но всё равно оставшиеся людьми, в этом лучше понимал Довлатов, чем я. «Тоска» это не маска, что нищета и праздность несоразмерны службе и достатку. Тоска это как у бабушки и у мамы перед смертью, что это они во всём виноваты, что ничего не вышло. «Животные» стали как люди, сами котят топят, потому что девать некуда, сами себе санитары, отгрызают лапу, повреждённую в драке, Легомиколь и Анфельция. «Мама» это как мама мне присылала деньги, собранные на бутылки, собранные в парке, с калоприёмником на животе после вырезанного рака. И я на эти деньги издал книгу, потому что русская литература не мертва. Ответ на вопрос ведущего салона имени Анны Палны Шерер, «Русская литература мертва?». Как будто если убить Бога, будет кому спрашивать, есть ли Бог? Это другая мама, которая шлёт Гене посылки и переводы на нищенскую пенсию и переехала с Западной Украины в Северодвинск, чтобы быть рядом, но не совсем близко, не на соседней улице и не в соседнем доме, чтобы не мешать и помогать. Это ещё одна мама, которая всё делает и после самоубийства читает книги убийцы и помогает деньгами, «дочка на теще», говорил я недавно соседке. Это ещё одна мама, которая с внучкой в шестикомнатной квартире поют песню Акеллы, внучка играет на скрипке и читает меня, девочке 13 лет, меня никто не читает, боятся, бабушка рассказывает сослуживице, что подыхать неохота. Я сразу думаю, значит, ещё не пора, надо поехать сказать. Бабушка совсем другое говорила, когда помирала, это я во всём виновата, что мир и жизнь не получились. Сейчас приедет Гена и всё сделает, сказала мама на каталке и умерла. «Женщина» это любовь.

Пока мы занимались любовью, над Москвой пролетали гуси. Кричали тонкими голосами, чтобы не потерять друг друга. Соловей защёлкал и бросил, видно прилетел только сегодня, примеряясь к одной из трёх яблонь в палисаде. Кошка Даша запрядала ушами. В прошлом году в форточку притащила мёртвого соловья. Я пошёл в туалет ночью и наступил ногой на птицу. Очень хотелось избить благодарную тварь, принесшую хозяевам гостинец. Так увлёкся любовной песней, что не заметил, как снизу смерть подкралась в виде стерилизованной кошки Даши.

Это получилось не нарочно. Я подобрал её на платформе с огромной грыжей. Врачи, когда вырезали, задели женские органы. Собака Блажа заблажила спросонок, как трёхмесячная дочка, которая вообще не спала ночью, мы ругались, чья очередь вставать, теперь подросток, интересно только когда про неё. Как Долохова из «Войны и мира» интересовал только один человек на свете - Долохов из «Войны и мира».

Говорят, это проходит, говорят, для этого мы и приходим, с небес на землю слетают демоны гордыни, с земли на небо слетают ангелы смиренья. Говорят, соловей может так забыться на каком-нибудь 17 колене, что умирает от разрыва сердца.

Мария везла цветы, пять белых калл. Дядечка в электричке сказал, у вас праздник? Мария сказала, да.

- День рождения?

- Нет, пятнадцатилетие супружеской жизни.

- Муж поздравил?

- Нет, я мужа.

- Так это вы ему цветы везёте?

- Да.

Дядечка обиделся.

«Литература» это

Я читал книгу критика Папоротникова и думал, надо же, я не знал подробностей, но как точно я представлял эту отвратительную литературную кухню, а ля Шириновский, быть шестёркой пахана - населя, девочку? мальчика? чесать пятку? романиста? «Снимайте меня, снимайте», катайте меня, катайте, говорит чеховская дама. Короче, очень противно.

Потом подумал, но немота ещё хуже. Конечно, это противно, самозванно, как у Розанова, я и египетская цивилизация, я и вечность, я и бессмертье, я и Христос. У Розанова есть такой отрывок, как он ездил из Сергиева Посада, 3 часа на локомотиве, до Ярославского вокзала в 18м, в голод, чтобы посмотреть как люди, в основном имущие - солдаты, едят. У Розанова в 17м было 30 тыс., заработанных литературой, 30 тыс. старых золотых, я не знаю, сколько это на доллары, но, вы меня понимаете, голодный миллионер, потому что банков не стало, который ездит на Ярославский вокзал из дальнего Подмосковья посмотреть как новая знать ест батон пшеничного хлеба, даже не разломивши и не понюхавши запах, дух, розановского бога.

Это ведь уже серьёзней, и это тоже литература. А теперь ещё две вещи. Как Шаламов после 17 лет Колымы на торфяниках прорабом в Тверской области писал всё оставшееся от работы время, не останавливаясь, как заведённый, чтобы запомнить всё, что было, чтобы осталось, почти без надежды, что это останется, как две трети народа опускали одну треть, потому что государство закончилось концом света и для него это было как жизнь после конца света, рай, загробность, но всё равно он не смог поверить, потому что было слишком страшно и вернулся на зону в безумье. Как Пастернак, вослед учителю, начавшему новую жизнь в 80, в 70 новую жизнь начал.

Кто знает, что это значит, простит всю пошлость околосредоточенной богеме, когда один из нас сможет. Это я так себя уговаривал напечатать книгу, слишком велик был искус ещё лет на 20 занырнуть в подполье.

Мария всегда говорит - все. Все сказали, что я самая красивая. Новые туфли - все улетели. Коралловое ожерелье, кольцо из янтаря - всем очень понравились. Или как говорят современные подростки: они, такие. Не есть ли это главный принцип искусства, то, с чего начинается, постмодернизм, как у Достоевского в романах, если очередная истерика происходит без переполненного амфитеатра и 50 статистов, то неинтересно, как у подростков. Как у Хлестакова, курьеры, курьеры, курьеры, 30 тыщ одних курьеров, как у Розанова, я и египетская цивилизация, как у журналиста Парфёнова, Черчилль, Рузвельт, Сталин и Парфёнов в Ялте. Как в советских анекдотах про Штирлица, в конце концов становится ясно, что воюющие стороны - эманация разведчика, его дневное и ночное сознание. Самозванно, но очень похоже на жизнь, когда на землю слетают демоны гордыни, а с земли слетают ангелы смиренья. Так давайте расскажем как их жизнь ломала. И вот искусство. Тогда постмодернизм станет неохристианство. Катарсис у жизни, а не у художественного произведения, запомните об этом, драматические герои жизни. Иначе, посмотрите, маленькие дети, разве они люди? Ведь это какие-то серафимы, посетившие землю случайно с её серым цветом. А потом они делаются подростками и начинаются ломки. Женщины, вино, наркотики, советская армия, зона, государство.

Вот шесть иероглифов про Седуксеныча, а вот главный седьмой. Сержанты перед строем в армии били, не потому что так надо, а потому что боялись, что так не надо. И это конкретная империя, которая хотела от человека чего-то, чего он уже не мог. Ну, то есть, смертная память и есть цель жизни, этот китайский иероглиф, литература, женщина, мама, животные, вино, тоска. Что вы испытываете нечто, что вас уже не покинет, даже когда вас не станет. Что люди приходят из детства, природы, а уходят в историю, старость, где сражаются ангелы с демонами на небе, как на фреске Мондильфьери. Где вы смотрите в окно «мицубиси» на русский шансон всегда. Иероглиф это не образ, иероглиф это буква, как гусяр с драконом сражались и оба победили, буква «х». А вообще-то иероглиф это образ, что нас не будет и в то же время мы будем, нет, не памятью на звёздах и не в московских курантах, и даже не солью на хлебе. Ну, это как Спаситель сказал «талафа, куми», Лазарю, через три дня после смерти, и как в легендах про загробность всех

народов, и как в поэзии, и как в прозе, и как на картинах. Что-то есть, говорят подростки между собой в подъезде и закатывают левый рукав. Что-то есть, Димедролыч уже себе не признается, что цена и жертва это разные вещи, хоть и становящиеся одной, потому что он стал чиновник. Хотя, теперь начнётся, и не только у Димедролыча, а у всех недовольство чиновниками. Люди как дети, после 10 лет несчастий хотят крепкой руки, после 5 лет достатка хотят искусства. Здесь искусством становятся бабушки-пенсионерки, жертвы теракта и пьющий Седуксеныч. Главный иероглиф, «талафа, куми», «встань и ходи, Лазарь», Димедролычу не даётся. А кому он дался, мне, что ли? В каком-то смысле он дастся бабушке с внучкой, поющим песню Акеллы, внучка на скрипке, бабушка вживую. Родители и дети на заработках в Патагонии и Пингвинии. И никто этого не понял, а я понял. Да, все это поняли, а я не понял.

Может, это не так уж и страшно, когда мы в юности и детстве мечтаем о любви и дружбе наивно и жестоко, а в старости к нам приходит воплощение иероглифом, что я это не я, уже не только на работе, но буквально и сиюминутно. И мы лежим на своём топчане на веранде в пригороде Мытищи возле окна с цветами, возле компьютера, возле книг и жизни, и плачем. Русский шансон, ангелы на небе, «мицубиси», демоны на земле. Что мы во всё это верим, что это и есть артистизм и искусство, что это и есть дети и работа, а то, что одна соловьяха скормила себя соловью, а то, что мама сказала, сейчас приедет Гена и всё сделает как надо и умерла на каталке в операционной, а то, что бабушка сказала, что это она виновата в таком мире, а то, что самоубийца читает книжки убийцы и едет на работу кормить его семью, а то, что бабушка и внучка поют на скрипке песню Акеллы, что люди смертны и что люди бессмертны, что люди одиноки и что люди неодинокы, то это чтобы не забыть, что они потом музыкой станут. Короче, «талафа, куми», «встань и ходи». И когда человек это понял, он уже не боится умирать. Нет, он, конечно, боится, потому что дело-то новое, но он знает, что было, что будет, поэтому ему посильно, что есть. Он уже был дружбой, любовью, верой. Он уже был войной, ненавистью, несчастьем. Теперь он становится Богом. Не трогайте его, отойдите, про Лазаря больше ни слова. И вот почему пьёт Седуксеныч, он так пишет книгу, как надо. И вот почему служит Димедролыч, он так рисует картину, как не надо. И вот почему один Самуилыч, он так видит одиночество. И вот почему не один Финлепсиныч, он так видит Бога, одиночество.

По телевизору министра культуры на ток-шоу «Свэтские люди». Это как у актрисы Друбич спросили, с кем бы она пошла, с Крымовым или Банананом. В фильме её героиня убивает нового русского Крымова, потому что он убил Бананана, которого она полюбила, потому что он убил его. Она отвечает, а кто такой Бананан? Фуцыр, фтутик, фук. Почти как Крымов говорил в фильме. Потому что фильм был снят после перестройки, перед демократизацией, перед терроризмом, перед антитерроризмом. И тогда Бананан был славен, а Крымов бесславен в определённых интеллигентских слоях общества, а теперь бесславен, потому что слои уехали, умерли и спились. Бананан говорит, «комьюникейшн тьюб» на рулон картона. Крымов говорит, жить это наслаждаться, подставлять, обладать. Анна Пална Шерер говорит «юн мотс», подаёт знаменитость на сладкое. Министр культуры показывает новую рубашку, купленную в Риме, и говорит спич в конце передачи про то, что пусть она там выдыбает, русская литература, мы просто мимо проходили, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, надо уметь не нарываться, а русская литература вся про то, что лучший способ нарваться - не нарываться, и за неё денег не платят, вообще нисколько, в отличие от учителей, врачей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Капитан Тушин, который выиграл сражение со своей батареей, говорит, спасибо, голубчик, выручил, милая душа, когда все адъютанты его подставили, а себя выпятили, джентельмены со своим трупом в кейсе. Болконский бьётся головой о стену, что Толстому его некуда деть с его чувством несовершенства мира и гармонией совершенства в груди. Платон Каратаев шепчет, ничаво, малай, что всё кончится фашизмом, что людям всегда нужны виноватые, чтобы устроить рай, надо устроить ад, и его даже отпеть некому, причастить и исповедать. Отпоёт потом Толстой, но это станет литературой, по чём надо иметь хотя бы четыре, чтобы работать на телевидении или в банке. Когда Христа арестуют, он больше не скажет ни слова, литература закончилась, дальше началась подстава. Ну и что, что потом его именем станут сжигать иноверцев, чтобы государство было величиной с землю. Бананан, капитан Тушин, Платон Каратаев, Спаситель видят слово, нельзя даже сказать, что они в него верят, как нельзя спросить, есть ли русская литература, потому

что ничего кроме русской литературы нет. Анна Пална Шерер, Крымов, министр халтуры Мертвенный, Димедролыч не видят слово, поэтому никакое удостоверение их не удостоверяет, кроме успеха жизни, потому что если Бога нет, то некому спрашивать, ведь ничего нет. Получается какая-то мудель, как на фреске Мондильфьери, синие с рогами обнажёнку хавают. Прогуливаются дамы с драконом на поводке. Авраам и Саваоф друг другу руку тянут и думают, неужели получилось? Абсолютно красивые не видят порока. Ну что я могу после такого утра. Покурить и отрубиться. Подрабатывать грузчиком в фирме. Короче, в детстве и юности воплощение дружба, а получается поэзия. В зрелости воплощение любовь, а получается проза. В старости воплощение вера, а получается Бог.

Неуловимый Джо

"Лежи и смотри, как горлом идёт любовь."
Башлачёв

И то не то, и то не то, а вот это то, восклицанья. Веранда, цветы, весна, солнце, рукописи, книги, фотографии, компьютер, бронзовые, глиняные и деревянные статуэтки, керосинка, латунный умывальник с Соловков, самодельная мебель, топчан, кресло, стол, полки, индийские домотканые коврики из пёстрых трикотажных обрезков, как наши бабушки, что болгарские, что русские ткали. Мультфильм про то что, а что же было за этот год такое, что чудо. Вышла книга, издала мама, через 2 года после смерти на бутылочные деньги, собранные на бутылки, собранные в парке, русская литература мертва? Да, да, конечно. Это весна. Остров в Северном Ледовитом океане, всё Бог, всё счастье, ничаво, малай, Платон Каратаев сделался начальник, бабой и мэром, дослужились через 1000 лет христианской цивилизации, чудо? Да, да, конечно. Это лето. Осень, о осень, любимое время, раньше была весна, был помоложе, ведь и родился весной, видно старею. Театр «Около», пантомима: Гитлер, Сталин, клиника, «Битлз», мужская нирвана, женское одиночество, поппури из советских песен, «Сиреневый туман над нами проплывает, сиреневый туман, полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда», монолог армянского мальчика в Северной Америке на греческих котурнах про то, что всё то же самое, только верующее. Художник Хамид Савкуев, в мире нет порока, в мире есть причастие, исповедь, отпеванье, видели вы где-нибудь такое, чтобы не было порока? Художники Филиппова, Черкасова Филатов, я и не я, внутри и снаружи одно и то же. Режиссёр Кама Гинкас, всё равно, какая эпоха, развитого социализма и застоя, демократизации и беспредела, терроризма и антитерроризма, если нет чернухи, значит, всё счастье. Художница Погорелых, художник Поприщин, Арлекины, Пьеро, Квазимодо, Гретхен, ангелы, Мальвины, Наполеоны, эльфы из глины, современники, городской и деревенский пейзаж маслом на кожаных сумках, всё пройдёт, останется только это, хоть сил уже нет одно и то же клепать для денег. Чудо? Да, да, конечно. Зима. Зима самое тяжёлое время, полгода в нычке, в спячке, в лычке, на пенсии по инвалидности, в ссылке, в лёжке, в медали, на зоне, то ли батюшка, то ли христородавец. Антигона Московская Старшая и Антигона Московская Младшая поют на скрипке песню Акеллы для меня, грузчика в фирме, в шестикомнатной квартиры про то, что они умрут и будут жить дальше. Вот это, пожалуй, самое дорогое. Так что же ты, если кругом чудо. Ну, как вам сказать, люди. У жены Марии истерики, что нет денег и что она меня любит, а я её нет. Катерина Ивановна, дама, смотрит спектакль про то, что человек это чудовище, надо им любоваться, и ждёт чуда. На представленье авторы и редактор, для обратной связи, редактор их любит, а они любят себя.

Мариинины иконы, про 8 лет, какие они будут, занятия, смысл, молитва, работа. Передача города с рук на руки. Какого города? Соловков, Мытищей, Москвы, Китежа-града? Австралии, Патагонии, Пингвинии, Брондингнегии, Нгуингмии, Атлантиды, Гипербореи, Лемурии? Вообще-то в богословии это конкретный город. «Над небом голубым есть город золотой». Гребенщиков положил его на ренессансную музыку и спустил с неба на землю, «под небом голубым есть город золотой». В богословии этого делать нельзя, но в жизни сколько угодно. Собственно, весь социализм наш семидесятилетний был ни чем иным как строительством Царства Божьего на земле,

в историю больше не пойдём, потому что истории больше не будет. Тогда история пошла в нас, социализм строится прежде всего в мозгах, раю нужен ад, если опустили треть населения, а меня не тронули, то это счастье. В богословии не так, Зосима передаёт Савватию не предлог «под», переделанный из предлога «над», а пчёлами из воска слепленный «макет» монастыря, снятый с того города, который «над». Это не значит, что через 500 лет охранники на Святых воротах Соловецкого кремля там не будут обилечивать туристов, а монахи в Никольских пускать только паломников, а если ты не паломник и не турист в пустое небо смотри. Просто церковь небесная есть прообраз церкви земной и когда вы целуете батюшке руку, прося благословения, вы получаете его от церкви небесной, а не от церкви земной, потому что церковь земная, в конце концов, чиновничье и человеческое учреждение. Я смотрел один раз в хронике лица православных каноников, почти всех расстрелянных, меня до сих пор мороз по коже продирает, при том, что народ 500 лет справедливо смеялся над толстопузым и мздоимным сословием. Тут ведь дело не в том, что «над» переделают «под», тут скорее дело в «древнерусской тоске» (из другой песни Гребенщикова), что ею нельзя насытиться, что она всё тоскливее. Что сначала предали апостолы и стали мучениками, потом народы, а потом вся земля стала империя, и соответственно Китеж-град. Потом как в американских боевиках в стиле «фэнтези» Мэл Гибсон и горстка выживших после войны с нгунгмами начинает всё сначала на планете Альфа Центавров. С поправкой из Библии, что когда горячие с холодными мочатся, тёплые на стороне холодных оказываются, хотя им было бы теплее с горячими, такой феномен.

Вторая икона, «И зацветёт миндаль, потяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой». Богу понадобился человек, как это ни смешно для того, что изображено на иконе, вернее, для самого изображения, песни «Под небом голубым», стихотворения «Над небом голубым», зоны с её законами, церкви с её благодатью, государства с его мерой. Что это всё игра, понарошке, не по настоящему, но до тех пор, пока ты здесь, это как отпевание ангелами, Богом тебя там. Другими словами, Бог одинок, но это не значит каких-то специальных медитаций, наши дружба, вера, любовь, война, ненависть, несчастье, ничегонетнасамомделе всервно и есть предмет, содержание разговора. Бог одинок и это значит, что мы станем им, для этого нам не обязательно стаскивать небо на землю, для этого нам достаточно разговаривать.

Потом 8 голов, переплывающих Ахеронт, картина Хамида Савкуева «Плывущие», что их действительно 8, это я потом вычислил и удивился совпадению.

Первый год, четыре глиняных фигурки, подаренных друг другу на новый год, Арлекин, Пьеро, Квазимодо, Гретхен, зима, весна лето, осень. Главное, что там нет одиночества нигде в шести картинах про шесть лет Хамида Савкуева. Кандальник и ворон (человек и птица), змеелов и змея (змеелов), рыбак и рыба (рыбак), Мария и растения, (проращивающая лук), мим и манекен (мим и манекен), мальчик и крыса (двое). Это про то, что я писал. Значит, работа делается. А ещё, главное содержание этой работы в деревянной скульптуре Гриши Индрыча Самуилыча, которую я назначил на последний восьмой год этой работы, быть его эмблемой, легендой и мультфильмом. Уже много раз мною описанные двое борющихся монахов, только головы у них вместе. Раньше я думал так на людей, а теперь вижу, что картинку можно назвать жизнь, можно назвать смерть, что для человека второй всегда враг и Бог, но вообще-то их двое и они в совершенно одинаковом положении.

Соловьиха больше не может своей смертью кормить соловья, подошла её черта, соловей должен стать двойным, поэтому фигурок по две, мама и папа, Арлекин и Пьеро. Человек не должен приглашать окончательность сюда на землю, это будет жалость к себе, одиночество. Он устал, он сходит с ума, он забыл, что у него есть Бог, мама, папа, работа, семья, страна, несчастье, ненависть, война, вера, дружба, любовь. Для этого, между прочим, и нужны писатели. Виноваты не министры и журналы, когда их не оказывается, а я, что я не смог победить отчаянье. Папа Арлекин, который всё понимает и ничего не боится, мама Пьеро, который одинок как Бог. У них в руках атрибуты бессмертия, я про глиняные фигурки художницы Погорелых, плоды в рушнике и мандолина, хлеб и вино, песня и деньги, корысть и любовь, жизнь и смерть.

Когда я писал первые стихи в 22 года после армии в дядитолойной квартире в Строгино, я разговаривал вслух. Кто мог знать тогда, что это так далеко зайдёт, что я буду через 20 лет

работать грузчиком, проезжать на «газели» мимо, всё вспоминать и слушать рассказы менеджера, что все писатели евреи, мы ведь не писатели и не евреи, он татарин по матери и русский по отцу, я болгарин по отцу и русский по матери. А мои стихи будут стоять вокруг как древнерусская тоска, за 20 лет так и не напечатанные, превратившиеся потом в рассказы, а потом в молитвы 7007 раз на дню с коробками с фототоварами в руках, что мир имеет шанс на спасение в пропорции 33 к 1, как передадут по включённому в салоне «газели» радио про то, что бомбардировщик, сбросивший бомбу на Хиросиму, а потом самоубившийся, на аукционе в Америке продан за 300 тыс. долларов для памяти, а картина сумасшедшего нищего наркомана Ван Гога «Прогулка в тюрьме» за 10 млн. долларов для совести.

Делим 10000000 на 300000, вычитаем из 48 - 40, потом делим 32 на 8, в результате этих вычислений получаем 4 романа в год про музыку, математику, поэзию, прозу, богословие, скульптуру, живопись, драму, трагедию, что я вина, а деньги Бог, вычитаем из денег вино, из Бога я и молчим в салоне «газели» юродиво, в Строгино возле палатки «Кодак», в магазине «Седьмой континент», потому что слишком много всего получается из страдания и сострадания, немое писательство. И догадываемся, почему в поколении дедушек за хорошую книгу убивали, в поколении отцов за хорошую книгу сажали в психушку сначала, а потом высылали за бугор в тьму внешнюю, в поколении детей про хорошую книгу делают вид, что её нет, и даже не делают вид, что ещё обиднее, это как в анекдоте про Неуловимого Джо, а почему он неуловимый, а кому он, на хер, нужен. Что все немые писатели, что всё русская литература, что ничего кроме русской литературы просто нет, поэтому она как бы мертва, что открывает возможности для спекуляций, если Бога убить, кто будет говорить, что у него аффект, что Бога нет, русский мат.

Ничаво, малай, всё счастье, всё Бог, Платон Каратаев, мэр острова Советский в Северном Ледовитом океане, Неуловимый Джо. Кому похвастаться, что я его поймал, я, я, я, битый эпилептик из Мелитополя, чмо, приживалка, юродивый, Мариин муж? Кому похвастаться, что я его поймал? Некому, только Богу. Бог, я тебя поймал, я молчу, я ничего не отвечаю менеджеру Красноармейцеву, мне достаточно того, что я твою работу сделал и ещё сделаю в 32 томах про тебя за 8 лет.

Без картинок не обойтись, вот что плохо, а как их в текст вклеивать? Придётся новый жанр основать, мультфильм из слайдов и голоса. Но если принять, что это то, чего нет, но что могло бы быть, если бы халтурящие не халтурили, то жанр мог бы быть, а так он только как могущий быть будет быть. Всё, надо останавливаться, чтобы крыша не поехала. Весна, родился весной.

Я придумал новый жанр, у меня в последнее время, как у Хармса, какие-то иероглифы и мультфильмы. Это надо договариваться с людьми, авторами, Хамидом Савкуевым, Гришей Индрычем Самуилычем, художницей Погорелых, Марией. 10 картинок и голос, сколько длится чтение, минут 20, и всего 10 кадров, по две минуты на кадр, такой прикольный мультфильм, постмодернизм, неохристианство, стукачество, юродство, шут короля Лира, труп Антигоны, Мандельштам Шаламов, Сталкерова Мартышка, вряд ли у меня получится. Жалко, жалко, поплачем со мной, Бог, как я тебя перемолчал, поймал, показал, отпустил назад, домой, в глаза всех. Потом в милиции спросят, где вы работаете? Ответ, дома, писателем, будет несолидно звучать, потому что деньги где и штампик в трудовой, нету их. Но мы-то с тобой знаем, мультфильмы про неуловимого Джо в камере для бомжей, про то, что они Бог, обхохочешься, обмочишься, семя изольёшь, крыша съедет, в штаны наладёшь, а потом на допрос к следователю, так где вы, говорите, работаете? Грузчики мы. Ну вот, другой разговор, а то писатель, ёбт. Таких писателей в каждой камере понатыкано.

Я вспоминаю свою армию, как я бесился на губе в камере, что мы священнобезмолствующие, а десантники, водители, связисты, строители, русские, татары, грузины, белорусы смеялись сочувственно, ничего пройдёт. Когда я им, советская армия, древнейший обряд посвящения подростков, достигших половой зрелости в таинства смерти и воскресения, лабиринт одиночества смерти я из первобытных валунов. Ты разгоняешься по спирали и влепливаешься в ничего, сапог, полный мочи на утреннем построении, те, кого избивают, те, кто избивает, те, для кого избивают, казарменная стена, всех жалко, эпилептический припадок, а потом наступает другое. Как мы с мамой папу из психушки встречали в парке, акации, ивы, дубы, тополи, а потом мама там будет умирать, в соседнем корпусе от онкологии в реанимации, в той палате, в которой я после

аппендицита лежал, ветка ночью скреблась по стеклу, а я плакал, что больно и одиноко. Потом мама там рядом в морге лежала, всё рядом, друг к другу впритык, морг, психушка, реанимация, хирургическое отделение, горбольница, парк, только я уже был старше отца, когда он в закрытом гробу из западной группы войск с защитным после вскрытия горлом и контейнером книг приехал для посвящения, что жизнь на самую драгоценную в здешней природе человека жемчужину велено разменять. Кем велено, и я во двор перестал выходить, книги стал разбирать, кем велено, и в 10 классе по мячу на футболе не мог попасть, мне казалось, что он летит прямо ко мне, я по нему бил, а он мимо пролетал. Саня Бенда, Валера Гасилин, Андрей Старостин, Жека Квартин бросали футбол и священнобесмолствовали, во Чибан даёт, у меня уши были оттопыренные как у чебурашки, откуда им было знать, что это мультфильм такой про неуловимого Джо в лабиринте одиночества смерти я, потом они тоже его поймут, на пенсии по инвалидности, в нычке, лычке, медали, тюрьме, или не поймут, но всё равно поймут про что я им показывал мультфильм. Стоны наслаждения, Даша Бегемотова, Пьеро Арлекинов, Мария Родинова, остров Жизнь, море Смерть, не искушай Господа Бога твоего.

Дело в том, что этот мультфильм может сделать любой человек. Прочсть своим голосом и показать фотографии или записать на плёнку. Не обязательно даже этот рассказ и иконы Марии Родиновой, глиняных кукол художницы Погорелых, картины Хамида Савкуева, деревянные статуэтки Гриши Индрыча Самуилыча. Можно свои воспоминания, мысли, образы, картины любимых художников, любительскую видеосъёмку, фотографии из семейного альбома. А можно вообще ничего этого не делать, всё равно оно само всё время делается, на небе, если не на земле, такой национальный подход, этому мы и будем учить тех, кто сюда хлынут, когда станет жарко, есть ли ещё что за душой, чем хуже, тем лучше, подход, у истории христианской цивилизации. Россия лишь факт географический, у меня на сей счёт, господин Чаадаев, очередной русский душевнобольной, нет ни гордыни, ни смирения. 1000 лет землю под паром держать, по трошечки выморачивая из местного Бера в русского Христа. Как говорит Фонарик, «книга светлая»? Как говорит Антигона Московская Старшая, «волшебный человек». Как говорит Антигона Московская Младшая, которой 13 лет, «по моему эта книжка гениальная», которую боятся читать журналы и министры, потому что одно из двух, или книжки нет, или их нет. Как говорит тёща Эвридика после смерти зятю Орфею, «я за вашу квартиру заплатила за полгода вперёд», после того как книжку прочла, «потому что мало ли что, вдруг со мной что-то случится», и едет на работу. Как говорит мама Пьеро, «ты Генка, дурак, если бы не эта проклятая литература, был бы ты нормальный человек». Как говорит жена Мария Родинова, «вряд ли», когда она полторы тысячи даёт, чтобы подарки купил им на 8 марта. Сумку художника Поприщина дочке Майке Пупковой с городским и деревенским пейзажем маслом, который не стирается и не сотрётся уже никогда. Всё стирается, а сумка останется и будет светить в темноте, когда и темноты не останется, этот эон закончится. А сумка будет лететь в разматериализованном времени, не аннигилируясь, а художник Поприщин, который её сшил и нарисовал, тоже будет рядом лететь и водку пить, что надоело одно и то же за деньги клепать. Жене Марии Родиновой скомороха из глины художницы Погорелых, который оживёт и станет частушки петь. Вот эту, записанную фольклористом Зубоскаловой в Иркутской области, «Спасибо моряку / Колумбу Христофорцу, / Открыл Америку / Для большего просторцу». Анекдоты рассказывать. Вот такой. «Шёл ёжик по лесу. Забыл как дышать и умер». Из фильма-сказки «Золушка» цитировать, «Мальчик-то, мальчик-то, как разрезвился». Тёще Эвридике книгу про то, как одна самоубийца семью убийцы кормила, потому что к этому времени всё уже было готово к превращению, кроме министров и журналов, но эти всегда опаздывают, потому что дело государственное, меру блюсти между холодными и горячими, зоной и церковью, голяком и сплошняком, Платоном Каратаевым и Неуловимым Джо, тем, что на самом деле и тем, что ничего нет. Что на самом деле никаких тёплых нет, есть живые и мёртвые, подставляться и подставлять. Вот поэтому этой книги 20 лет не было, зато была передача ток-шоу «Русская литература мертва?» про то, что на ринге Анна Павловна Шерер и капитан Тушин говорят, «никакого внутри нет», «никакого снаружи нет», но уже началась рекламная пауза, отсрочка мировой истории, для бритвы «Жилет» и жевачки «Орбит» без сахара.

Как дядя Голя Фарафонов, милиционер на пенсии в деревне Белькова, Мценского района, Орловской области русскую украинскую народную хайку говорит, «дай / до твоих лет / доживу»,

десятилетнему мальчику с болгарскими чёрными глазами, и топорами кидается с бодуна, и в лицо плюёт, потому что жизнь сложилась трагично и тяжело. А тот свою судьбу запоминает наперёд, что ничего не поделаешь, как возле всего местный бог Бер в русского Христа превращается. Как военный моряк в отставке Николай Филиппович Приходько русскую украинскую народную хайку говорит на острове Соловки в Белом море, где бог Бер 30 млн. лет окапывался, пока там одежду Христа автоматчики Ногтёва и Эйхманса, Ноздрёв и Чичиков в преф на Хуторе Горка разыгрывали 2 тыс. лет. «Отучить курить вы меня можете, / Отучить пить вы меня можете, / А отучить гулять вы меня не можете». Как Петя Богдан, моряк, учитель, писатель, врач русскую украинскую народную хайку говорит в городе Мегаполисе в стране Апокалипсисе, «Себя простить, на мостик стать и спать уйти / От интеллигентского противостояния, / Тварь ли я дрожащая или право имею». Как капитан Останин, пароход, русскую украинскую народную хайку говорит, «ребята, / кажется, / я тону», и на льдине переворачивается, когда идёт катер чужой заводить, вмёрзший в шугу. Как историк Морозов, корабль, русскую украинскую народную хайку говорит, «человек / это / вера», и запивает всё сильнее, потому что помощников мало. Как майор Фарафонов, посмертно реабилитированный, на острове Большой Советский в Северном Ледовитом океане русскую украинскую народную хайку говорит, «вера это любовь, / человека нельзя опустить, / если он сам не откажется». Как папа Арлекин Пушкин русскую украинскую народную хайку говорит, «ничего не бояться, всё понимать, / 1000 лет одиноким быть, / не искушать Господа Бога твоего». Как Мандельштам Шаламов, местный священнобезмолствующий, русские украинские народные хайки говорит, «Были животные, / Теперь человек, / Потом будут ангелы», «Какая разница, / глобальное потепление, / то же самое», «Разговаривай, / Про несчастье и счастье / Мультфильмы показывай».

Национальные герои

Здесь закон жанра. У Марии победил жанр, что мы невольники, она устала. Поэтому всё время плачет, поэтому кругом одно жлобство и предательство, поэтому национальный герой - Родион Романович Раскольников после каторги, второй муж Навны Мятновны Капторанговой, у которой у мамы инсульт, а у папы расслабленность и он говорит с балкона, интересно, почему эти южные люди так любят работать с асфальтом? А мама кричит на него одними губами, потому что они рабы. А я думаю, когда мне эту историю рассказывает Мария, вот почему они мне так полюбились. Хотя, может, в них ничего хорошего и нету. Как всякие униженные и оскорблённые после освободительного движения становятся отчаявшимися и уставшими. Так продолжается история.

И вот Навна Мятновна Капторангова не смогла поехать руководителем группы школьников на остров Большой Советский в Северном Ледовитом океане, куда они уже 10 лет ездят. И Марии пришлось всё самой делать, потому что у неё муж Финлепсич, тихий сумасшедший, 20 лет что-то строчит в тетрадку. И один раз, когда умерла мама и продалась её квартира, удалось издать книгу из отрывков, про что же он там пишет. Что на фоне общей телевизионной перспективы, что русская литература умерла, всё становится русской литературой, на фоне смерти Бога всё становится Богом, на фоне смерти чуда, всё становится чудом, потому что представить себе такую ситуацию, когда нет Бога, чуда и литературы он не может.

Значит вывод один, всё - чудо, Бог и литература. Это потому что всю жизнь за него всё делает жена Мария Родинова и так смертельно устала, что национальным героем у неё стал Родион Романович Раскольников, второй муж Навны Мятновны Капторанговой, второй руководитель группы школьников из города Стойстороньлуны на остров Большой Советский в Северном Ледовитом океане, который только водку пьёт, в преферанс рубится, службу тащит и на жизнь не обижается, что она его обманула. И для Марии Родиновой всё это вдруг стало бесконечно достойно.

Возможно, потому что мы все, ведь, на острове и в течение жизни поймём и примем то, что нам станет близко по подобию. Мы увидим, что внутри ни у какого положения нет пустого, даже у предательства и злодейства. Просто, когда это проходит, становится видно, чего в этом больше.

Вот почему, когда Мария Родинова ему рассказывала про другого национального героя,

Вицлипуцля Самоедовича Чагычева, как 20 лет уже она ему про жизнь рассказывает, потому что живёт в ней, а он записывает, потому что не живёт в ней. А потом она пройдёт и станет видно не только, кто из них был прав больше, но что в их жизни были Бог, чудо, литература. Потому что они всё делали и записывали, почему другой национальный герой, Вицлипуцль Самоедович Чагычев, так симпатичен другому автору повествования, по подобию.

Потому что он ему понятен, как ему понятны рабы, которые всё делают за копейки, потому что он так делал. И непонятны бесконечные достоинства Родиона Романовича Раскольниковца, который просто узкий как шпага, потому что он раньше был широкий, когда был русский, а потом его сузили, когда он стал советский. Впрочем, для него это ничего не значит, все эти этнографические и геополитические разысканья - бессмысленные названья. Поэтому Мария Родинова всё время плачет от бессмысленности, усталости, фарисейства, корысти, предательства. А Финлепсиныч говорит, ну, теперь Чагыч будет моим национальным героем, из-за того, что ты мне рассказала.

В прошлом году был Седуксенич на острове Большой Советский в Северном Ледовитом океане, куда они уже 10 лет приезжают, и откуда они все родом, потому что он один смог всё делать и стать безумным, то есть, совместить в себе те черты, которые понятны им обоим, чтобы были, жизнь, чудо, Бог, русская литература. Ухаживал за мамой, пел с ней песню Акеллы, потому что она умрёт скоро. Финлепсиныч потому уважал это занятье, что не ухаживал за мамой и не спел с ней песню Акеллы, а мама всё равно его простила и смогла стать для него жизнью, чудом, Богом, русской литературой, христианской цивилизацией, передать перед смертью через соседку то, что она там в операционной палате надыбала, 30 лет глядя в одну точку.

Строй общину, Генка, из себя, потом ещё подтянутся. Это была как шифровка, потому что для соседки эти слова звучали, сейчас приедет Гена и всё сделает. Тоже неплохо. Ещё Седуксенич придумал себе занятье, чтобы не умереть от скуки и причаститься, как монахи в монастыре, самом красивом в мире, на острове Большой Советский в Северном Ледовитом океане, а потом самой первой и самой страшной советской зоне, потому что после народа-богоносца великой русской литературы девятнадцатого века иметь дело с народом-уркой великой советской утопии двадцатого века очень страшно. И тоже по подобию, Финлепсинычу это понятно и близко, сколько раз он говорил себе, что будет всё делать. Но его хватало на полтора года, потом от избытка килобайтов, сколько вокруг жизни, чуда, русской литературы, Бога, а всё проходит мимо, как будто так и надо, пьют водку, рубятся в преф, службу тащат, ни на кого не в обиде. И его начинало колбасить как с передозы.

Но тут подоспевала Мария Родинова и говорила, ну-ну, приляг, отдохни, запиши последние впечатленья. И он записывал, Седуксенич взял на воспитанье младшего Рысьего Глаза, старшие спились и умерли, остальные по детдомам и тюрьмам. Как всё население острова Большой Советский в Северном Ледовитом океане спилось, умерло, уехало. Остались монахи и коммерсанты. Монахи под себя постепенно остров подбирают, который был их и будет их. А коммерсанты деньги выбирают, пока есть такая возможность, нам только детей поставить на ноги. А Седуксенич считает, что дело не в этом, главное, чтобы у тебя всё было. И когда его воспитанник, сынок, как он его называет и втюхивает ему самую щемящую христианскую идею, что они друг у друга одни на белом свете остались, больше у них никого нет. И вот когда его воспитанник, сирота, урка, полтора года условно, в очередной раз его кидает после того как он его отползает на коленках, чтобы не сажали, беру на поруки, в очередной раз.

И ходит по посёлку, огрузши, в панамке американского сахаротросникового плантатора с берегов Амазонки с лицом украинского бродячего философа Григория Сквороды, безумным. Так что, когда вы оглянётесь, не признавшись, что узнали друга в таком плачевном положении, то увидите, что просто тот идёт с земли на небо как нищий поэт Басё с мотком рисовой бумаги и тростниковым пером. Вообще-то он редактор и редактировать книги для него теперь подработка, чтобы на душе горячо стало, третье занятье, чтобы всё делать после мамы и сироты, исповедь и причастье, отпеванье и молитва. Монахов тоже не оставляет, куда, говорит, я без Бога, после того как всем всё скажет, что он про них знает. Бывший моряк-подводник, радист на атомной подводной лодке, аспирант кафедры журналистики МГУ, редактор областной газеты «Советские годы», вот такие вот галсы национального героя.

Нет, нынешний год другой национальный герой. Вождь с лицом пожилой шаманки племени

Ренессансных Мадонн, Постсуицидальных Реанимаций, Посмертно Реабилитированных, Без Вины Виноватых. Это все мы, мы ведь на острове, когда мы не знаем, откуда приходят мысли и куда они уходят, когда мы не знаем, откуда мы пришли и куда мы уходим, когда нам кажется, что жизнь это рождение, а рождение это смерть. Рассказывает Мария, прячется от монахов и от корыстных, чтобы быть свободным. Чтобы ещё приезжали люди и сами решали, какими им быть, корыстными, свободными, монахами, от слова моно, один. Ведь раньше здесь был самый красивый на свете монастырь, а потом здесь была самая страшная на свете зона, а потом здесь была самая советская на свете община. Строй общину, Генка, из себя, потом ещё подтянутся, сразу вспоминаете вы.

Сейчас приедет Мария и всё сделает, думал я в это время, лёжа на разобранной маминой кровати возле ведра с кровью, не умея даже в туалет сходить от запаха, усталости, безнадёжности. Лежал и думал, кто первый успеет, запах станет я или Мария приедет. Община это когда корыстные, свободные, монахи дают друг другу фору на острове Большой Советский в Северном Ледовитом океане и не только, чтобы были жизнь, чудо, Бог, русская литература. Теперь там так делает один Чагыч, который нынешний год национальный герой, по подобию. Потому что монахи по уставу гарнизонной службы тащат службу, как будто не понимают, что форма одежды это удобно, но она не спасает ни от корысти, ни от свободы, ни от усталости, ни от фарисейства, ни от отчаянья, ни от чуда, ни от Бога, ни от русской литературы, ни от жизни. А чтобы отпеть, причастить, исповедать, отмолить население у населения, жизнь это форма света, надо делать как Чагыч, прижатый в угол формой одежды, корыстью, отчаяньем населения.

Он умудряется любить своих туристов и любимыми правдами и неправдами водить их к жизни на остров Большой Советский в Северном Ледовитом океане и не только. Чтобы они потом становились кто кем может. Для этого, собственно, нас сюда и засылают, всё делать. Когда конфликтная ситуация - убегает, когда застучали - прячется, когда безвыходно - предаёт, шепчет про чувство меры вместо молитвы, впаривает про правила безопасности на воде, чтобы всё равно была жизнь, хоть одни уехали, другие спились, третьи умерли, четвёртые остались. Это черты национального героя, сразу почувствовал что-то там пишущий в тетрадку 20 лет Финлепсич, вместо того, чтобы всё делать, по подобию.

Папа, забери меня отсюда, здесь очень страшно

«Да я теперь в кого угодно могу превратиться,
в теле такая приятная гибкость образовалась,
вот только в себя не могу».

«Падал прошлогодний снег»

Мне страшно, меня колотит. Всем страшно, всех колотит. Сначала утро, потом будет вечер. Футбол по телевизору. О, Господи, причём здесь футбол по телевизору, если надо строить. Над страной летает Мартышка Тарковского и шепчет про глобальное потепление и запазуху русского севера и никто не слышит. Последний герой выходит из дома, запирает дверь на замок, что ему дальше делать? Власть властвует, писатели пописывают, читатели почитывают, хирурги режут, больные выздоравливают, меня колотит. Теперь понятно почему героев перестроечных фильмов «Асса» и «Игла», Бананана и Цоя новый русский Крымов и герой Мамонова убивают, потому что это жертва. Жертва никогда не даром. Становится ясно, зачем было нужно глобальное потепление, когда сюда хлынут южные народы, они не смогут по-своему строить, они смогут по-жертвину строить. Зачем мне нужно это знание? Гамлет, принц Датский, мечется в клетке из трупов. Царство мало похоже на сказку. Сиреневый оранжевый закат по Ярославке в восьмом ряду несётся, как перегруженный рифрежератор. Платон Каратаев, соль земли русской, гастрарбайтер из ближнего зарубежья, в кабине камаза, Родион Романович Раскольников, зэк, менеджер по доставкам, в салоне газели, Павел Иванович Чичиков, мёртвая душа, директор фирмы, в экипаже джипа, притормаживают. По зебре переходит автор в местный супермаркет «Дизайн и озеленение» за цветком в горшке, жене, теще, дочке, трём женщинам-паркам, музам, гениям,

ларам, декабристам, меценатам, братьям, прядущим нить судьбы на ладони, из которой он как из кокона выбраться не может, чтобы никого не обидеть, на день учителя, день независимости от кого-то, а от кого мы забыли, день рожденья. С одной стороны Ярославки церковь, с другой стороны Ярославки отделение милиции.

Я на озере Селигере на туристической базе в июле долго думал, что же мне делать тут среди новых русских и старых русских, пока не придумал, совершать подвиги. Косить камыши под водой для пляжа, вытаскивать «БМВ» из лужи с грязью, вытаскивать детей мамам из воды, чтобы не утонули, отжимать дамам двери в тронувшейся пригородной электричке на мёртвой платформе, чтобы их не размыкало об белый свет до следующей платформы, большей частью снаружи, отчасти внутри. Дамы шепчут, не надо, не связывайтесь с провиденьем, это мы так вымочаливаем своё я о сущности мира, как на вершинах Гималаев и на дне Марианской котловины, 11 км вверх, 11 км вниз, куда нас сошлют после мыслей, кормить своей плотью ленточных глистов для флоры и фауны, штопать флаги стран-участниц большой восьмёрки, из которой нас исключили, потому что мы изменили принципам демократии.

Жать руку Сталкеровой Мартышке и не уметь оторваться от ладони, оказывается она уже родилась, а я и не заметил, я был загипнотизирован жертвой, гибелью героя, Цоя, Бананана, изменой принципам демократии. Разговаривать в тамбуре пригородной электрички «Москва - Петушки» с дядечкой счастливым, что он всё время по командировкам, а маленький сынишка один дома, какую ему завести породу, чтобы у него был друг, колли, боксёра, эрделя? Конечно, подобрать на улице дворнягу. С бомжами переругиваться возле больницы, которых не стали лечить и они в знак протеста основали лагерь, «что я тебе прислуга, принеси сигареты, принеси попить, отнеси тарелку на помойку».

Потому что пьяных больше не поднимают, стоит очередь в овощную палатку возле остановки маршрутки, рядом лежит пьяный с примёрзшими к земле волосами, с намоченными мочой штанами, очередь говорит, безобразие, и думает, ему хорошо. Потому что после эпохи построения общества развитого социализма и застоя была эпоха демократизации общества и беспредела, а теперь другая эпоха, терроризма и антитерроризма. Из взорванной электрички выходят в тоннель люди и одни другим помогают, потому что сначала свет пресёкся, а потом раскрылась новая возможность жизни, совершать житейские подвиги, как дочка Майка Пупкова, тёща Орфеева Эвридика, жена Родинова Мария, женщины-парки, музы, меценаты, декабристы, Платон Каратаев, соль земли русской, гастрарбайтер из ближнего зарубежья, в кабине камаза, Родион Романович Раскольников, урка, менеджер по доставкам, в салоне газели, Павел Иванович Чичиков, мёртвая душа, директор фирмы, в экипаже джипа, братья по страсти, потому что уже родилась Сталкерова Мартышка и летает как немая рыба над огромным полем от Франции до Канады, которое потом станет чудовищный город, а потом его не станет. Именно потому что я не могу так сказать, что потом ничего не станет. Я в это не верю.

Иммунитет и нервная система как-то сопряжены, а с третьей стороны чувство слова и всё это как дыра. А причём здесь тогда дело, если это как недело, как батюшка, который теперь крыша вместо политрука и особиста. Чтобы не помереть от муки, что ни до кого нельзя докоснуться, потому что они полностью закрыты, потому что они свою жизнь не видят, Сталкерову Мартышку. Жизнь, великое степное племя, Сталкерова Мартышка. Жена Мария Родинова в школе работает бесплатно, потому что дети генералов и банкиров тоже люди, они же не виноваты, что все деньги уходят на алмазные писуары, и тоже хотят знать всё о жизни, великом степном племени, Сталкеровой Мартышке. Как она была Платон Каратаев, русский народ, Родион Романович Раскольников, народоволец-разночинец, Павел Иванович Чичиков, революционер-чиновник, Мандельштам Шаламов, посмертно реабилитированный, Веня Аткин, дезертир всех войн в нычке, псих, алкоголик, эпилептик, смотритель ботанического сада «Хутор Горка» в штате Вермонт, Австралия, под кожей. Жена, Родинова Мария, приезжает с работы и злится, ты людей любишь слишком умозрительной любовью, а на улице осень, самая прекрасная пора года, а она устала так, что руку поднимет, а опустить забудет, так она и висит на воздухе как Христос распятый. Интересно, какой же другой любовью я их любить могу, если люди меня убили, смотрят по вечерам ток-шоу «Русская литература мертва?», «У христианской цивилизации смысла нет?», как будто, если убить Бога, будет кому спрашивать у Бога, есть ли он на свете. Русская литература это набросок

поступка, способ нарваться, как Толстой в 80 лет новую жизнь начал, как Пастернак в 70 лет новую жизнь начал, как Гоголь в гробу скрёбся, как Пушкина затравили, как зверя на травле, вина, легенда, Цой дверь запер и стал Сталкеровой Мартышкой. А на ток-шоу светские люди узнают друг у друга, как бы не нарваться, чтобы пробыть империей ещё одно поколение, чтобы своих детей подставить, в которых они деньги вложили. Дочка Майка Пупкова тоже светский подвиг совершила, ушла с конюшни, 10 лет лошадьми занималась, чтобы подготовиться в академию печати. Мама, Арлекинова Пьеро, одну книжку уже издала через 2 года после смерти на бутылочные деньги, потому что ей стало обидно, что её сына Гену Янева по телевизору халтурщики мертвецом обозвали, она-то точно знает из своей наставшей загробности, что всё живое. Тёща Орфеева Эвридика, даже говорить страшно, самый светский подвиг совершила. Это уже не набросок поступка, это уже Сталкерова Мартышка, вот кто дослужился, после самоубийства едет на работу кормить семью убийцы. А летом в Германию, Францию, Голландию к родственникам из Самары, чтобы на месте разобраться с этими Эйфелевыми башнями, Дрезденскими галереями и Гаарлемом, кто же там у них главный, Ван Гог или принцесса Диана, трагедия или драма, жизнь или искусство. И по возвращенье: сдавай на права и покупай дом в Сортавале, я хочу живописью заняться.

Ну, короче, это иммунитет, старший сын Антигоны Мытищинской, одноклассник жены Родиновой Марии, погиб в армии от желтухи, потому что никому нет дела. Младший сын Антигоны Мытищинской, одноклассник дочки Майки Пупковой, школа на карантине, эпидемия желтухи. Я в армии когда заболел желтухой, то мне фельдшер сначала не хотел поверить, почему он? А потом через 2 месяца в боевую часть турнули, хоть там полгода госпитализации положено по уставу гарнизонной службы, потому что каждый вечер «Иронию судьбы или с лёгким паром» про наш советский славяк с молотком в трусах смотрел, потому что после вечерней поверки во двор драться, какой род войск достойней, десант или человеколюбье. Ах, зачем я мальчиком родился, сейчас бы всё делал, как жена Родинова Мария. А так сначала как папа Арлекин Пьеров несчастье и счастье перепутал, потом как мама Пьеро Арлекинова 30 лет в одну точку смотрел, стоило или не стоило рождаться. Потом как Цой дверь на замок запер, вышел на улицу общину из себя строить, потом ещё подтянутся люди, а на улице летит астероид «Папа, забери меня отсюда, здесь очень страшно». Прилетит через пол поколения и собою накроет Мелитополь, Мценск, Москву, Мытищи, Соловки, Старицу, Селигер, Сортавалу, трагедию, драму, постмодернизм, неохристианство, жизнь, искусство, индейцев, у которых земля главная, инопланетян, у которых они главные, мутантов, у которых нет главного, послеконцасветцев, у которых всё главное, Платона Каратаева, соль земли русской, гастрарбайтера из ближнего зарубежья, в кабине камаза несущегося по Ярославке в первом ряду, Родиона Романовича Раскольникова, урку, менеджера по доставкам, в салоне газели, несущего во втором внешнем ряду по Ярославке, Павла Ивановича Чичикова, мёртвую душу, нового русского, директора фармацевтической фирмы «Щит отечества» в экипаже джипа несущегося в третьем правом ряду по Ярославке, сиреневый, оранжевый закат, в котором никто-никто баранку крутит, единственный зритель, несущийся как перегруженный рифрежератор в четвёртом левом ряду по Ярославке. Они разом по тормозам вдаряют, жопы до ушей об асфальт стирают, встают как вкопанные за нитку до автора, который с цветком в горшке по зебре Ярославку переходит с той стороны, где церковь, на ту сторону, где отделение милиции, а что я изделаю, встаёт посреди проезжей части и такую заклинательную формулу произносит. «Мы ещё не готовы, поле от Франции до Канады, стать Сталкеровой Мартышкой, стаканы взглядом двигать, потому что они наши мысли, все вещи, пол, девственная плева, сплошная линия горизонта, бессмертье, чувственное стихотворенье Тютчева, прабабушка Валя, а смеяться не умеет». И трогается дальше. Движение возобновляется, астероид «Папа, забери меня отсюда, здесь очень страшно» на пол микрона отклоняется от своей орбиты и минует землю, даже не задев стратосферу, через пол поколения.

2004 - 2006

Часть 7. Друг

«Не бзди, Вань, обоих выкупят, я договорюсь.»
«Кавказский пленник»

Автор

Что про меня все что-то знают, а что не говорят. Что на озере кто-то. Что я автор, а они герои. Что вот я сейчас захопну книгу и ничего не случится. А я думаю, что случится, потому что без этой главности жизнь будет неважно со всеми своими красотами, наслаждениями и бессмертием. Что раньше они не здоровались, когда у них было искушение корыстью, Рыжий Панько и Кувшиное Рыло, а ещё раньше мы дружили, когда у них было искушение нищетой в посёлке. А теперь они мне говорят, что мать в коме и что когда нагревается камень, то над островом стоит столб тепла и дождевые тучи отбрасывает на холодный воздух над водою и приходится поливать даже картошку. Я наливаюсь от важности как индюк сразу, словно я качок и неформальный лидер. Но они меня бросают сразу как дети игрушку, когда наиграются, как только увидят другого, и я себе шепчу, это жизнь. Вообще-то я шёл за спреем «Дифтоллар» просто, а не автор.

Герой.

Сначала она, Красивая у тебя жена, с майором Фараоновым приехала на остров. Потом он на другой женился и она на другом. Детей не было, она взяла одного из Глядящих со стороны, которых много по детдомам и тюрьмам и воспитала его джентельменом. Потом майор Фараонов через 20 лет погиб от любви и она родила ребёнка. Все говорят, чудо. И те, кто верят в Бога, и те, кто не верят. Бог отблагодарил за милость. Никто не знает и никогда не узнает, что чудо рукотворно. Она просто не жила с мужем, потому что майора Фараонова любить продолжала, а потом стала жить, потому что подумала что это от майора Фараонова как будто. И нельзя сказать, что она не права. Первый чудотворец тут муж. Второй - она, Красивая у тебя жена. Третий - майор Фараонов. Я это всё придумал, конечно.

Автор.

Рыжий Панько оказался благородным как свечка, а я думал, что он полукровка. Говорит, я тут Лимоне пропердон устроил за то, что она всех строит, как верить. И я сразу белки выворачивать начал как злая собака. Говорит, жене кабздец, у них там по женской линии все такие, тёща, жена, дочка. Парализовало, кома. Надо денег заработать, денег ни копыя, на жену, на дочку, на тещу. Сдавать туристам квартиру, сдавать рыбу в мотель, починить дору и заняться извозом. Иметь в день хотя бы две-три штуки. Один внук у меня остался. Зимой упал в воду на рыбалке. Мне не жить, если с ним что-то случится. И я подумал, блин, неужели у новейшей атомной бомбы за душой душевные муки.

Герой.

На нас с Акакием Акакиевичем охранник наехал в лицее, что Сталин, а Никита. И я подумал с благодарностью к воздуху, о, Господи, какой ты молодец, что перепугал на 3 поколения (30-60-90). Были бы мы вертухай и зэк на зоне. А так, большой, толстый, ленивый кот, который целыми днями смотрит телевизор в пустом, казённом здании, и у него немного поехала крыша. И битый эпилептик из Мелитополя, который передо всеми виноват, потому что нищий писатель. Как красиво, Господи, и как ты идёшь вроде бы мимо, а сам в самую внутрь попадаешь. Где у Маленькой гугнивой мадонны пошёл Христос по воде в пухнущем животе. Где Мужичок с ноготок всё понял в 10 лет, как бабушка Поля в 87, что это она во всём виновата, что мир таким получился, выучил букву эм и решил стать литератором как я. Где Оранжевые усы, святой, отсидевший 6 лет строгого режима за бытовуху, на коленях на бутылку стоит, в будущем сам Бог. На спине рыбы, которая как вынырнула, так и занырнёт обратно, пока мы строили инфраструктуру и боролись с терроризмом. Которая 2 млн. лет была лабиринтом одиночества смерти я, 500 лет была монастырём, самым красивым в мире, 20 лет была зоной, самой страшной в мире, 60 лет была общиной верных, самой родной в мире, 10 лет была искушением нищетой, 5 лет была искушением корыстью. А теперь стала деньгами и домом в деревне. А я плачу, потому что я уже под водой, это всё мои слёзы, этот Северный Ледовитый океан, смерть. Под водой хорошо.

Белуха подплывает к мёртвому белушонку и издаёт звук, похожий, то ли на «кабздец», то ли на «мир праху его», в зависимости от того, какая у неё фамилия, Долохов или Платон Каратаев её зовут. Так рассказывает лицеистам на острове Неинтересныч, руководитель биологической экспедиции на мысе Белужий, а сам думает с вождельем про банку пива, когда же это закончится и начнётся то.

Автор.

Мы, может, в прошлом году месяц просидели на бездарном Селигере, чтобы спасти жизнь человеку. А в этом что делать? Как спасти ему жизнь? Сказать, что я найду работу? Но мне никто не верит, я как больной с этой литературой. В прошлом году это была тётенька с рукой и ногой, зажатыми дверями пригородной электрички, тронувшейся на платформе с погашенным светом, экономия электроэнергии, мы возвращались с Селигера. Сама снаружи, рука и нога внутри. Мария нажала стоп-кран, я отжал ногой двери. Тётенька шептала, не надо, само устроится как-то. Я потом подумал, что для этого мы на Селигер ездили и там месяц срались, кто кого любит, а кто кого не любит, вообще-то вся поездка была как нарастающее спасательство. Выкосить на пляже камыш под водой, вытолкнуть заглохший БМВ из грязи на лесной дороге, помочь маме достать из воды упавшего с мостков орущего благим матом сына, спасти тётеньку от размыканья. Возвращались с Селигера на последней электричке, я сидел и думал, а где же последний подвиг, четвёртый, а он уже подвигался. В этом году в 100 раз труднее спасти человека. Мария уверена, что не рожать, я уверен, что рожать. Она мне не верит. Она боится двадцати лет нищеты, унижения и боли. Для меня это как посмертное воздаянье, что я ничего не смог и будь я проклят. Он сам не захочет сюда родиться, где отцы, матери, мужья, жёны предают всё время. Но у нас ещё есть поступок, как с той стороны жизни начинается удача, деньги, слава, счастье, всего лишь для того, чтобы спасти человека. А вообще, на самом деле, я ничего не могу сделать, не потому что я ничего не могу сделать, а потому что это такая работа, быть тем, что остаётся от Гитлера, Сталина, Хиросимы, первородного греха, провалившихся реформ. Это мог бы быть ещё один мальчик Гена Янев, которого всё детство било током, потому что он разбирал всякие включённые приборы, телевизор, магнитофон, лампы, розетки, чтобы посмотреть что там дальше. Ещё один мальчик Гена Янев, только электрический и меньше. Ещё один мальчик Гена Янев, только божественный и всеобщий. Ещё один мальчик Гена Янев, только с удачей, деньгами, славой, счастьем, с двадцатью годами литературы, а не нищеты, боли и страха.

Герой.

Иначе не могло быть и всё. Это какая-то чудовищная мудрость, для которой нужны не люди, а футболисты, которые всё время играют в футбол, как советские люди в фаланстере только работали 70 лет, а если что-то подумают, то в психушку, на зону, на луну, смотря что подумали. И вот после этого я подумал, что мы послеконцасветцы. Ты можешь переживать кем станет дочка после школы, бомжом или президентом, ты можешь всё время работать в интернете, чтобы была всё время Австралия внутри и снаружи, в Австралии хорошо, дочери уважают отцов за их страданье, сплошная опубликовка. Но на самом деле ты знаешь, что Акакий Акакиевич Башмачкин, физик-ядерщик, которому запретили делать новейшую атомную бомбу и он запил от счастья, что жизнь получилась, с утра стакан коньяку и весь день свободен. Рыжий Панько, который как последний бронтозавр, уцелевший на спине рыбы, дудит в фарфоровое небо, что надо всё время работать, чтобы не чувствовать, а то сердце тогда разорвётся от сострадания, но у него плохо выходит и он рассказывает рыбам на рыбалке посреди моря, что они ему всю сетку изорвали, блядины. Родинова Мария, у которой чем сильнее верёвка на шее шевелится, тем она лучшим профессионалом делается и любит сильнее. Орфеева Эвридика, которая так боится несчастья, что счастлива всё время. Катерина Ивановна Достоевская, которая из вольво наблюдает прекрасную осень и плачет, что ни до чего нельзя докоснуться. Вера Верная, которая взревновала, кто кого любит сильнее, я жизнь или жизнь меня. И я подумал, я что автор, знающий тайную интригу, что мы все послеконцасветцы, ведающие тайну, что все спасутся, потому что $1+1=1$.

Автор.

Дело в том, что я считал, что эти повести, которые на самом деле романы должна прочесть ничтожная часть населения, но Рауль уже требует романы и я раздавлен этим обстоятельством. Я не готов. Что, разве уже настал третий век русского ренессанса, когда все люди вывернулись

наизнанку как книжки со всеми своими мыслями и обстоятельствами и бесконечно прекрасны как Модильяниевские портреты, потому что они бессмертны. Я думаю так, хорошо, допустим, мне осталось 7 лет и это такой роман как у Шекспира в третьем периоде творчества сказка «Буря» и сказка «Зимняя сказка», порок наказан, добродетель торжествует и все живут в закуточке. И как у Пушкина в «Капитанской дочке» правительственные войска и каторжане четвертуют и колесуют друг друга, а генерал Че и наш летёха квасят и поют русские народные песни. Но ведь этого нигде не видно, откуда я его взял? Короче, мне страшно, у меня психоз и невроз. Молодые люди в электричке рассказывают как они будут трахать в жопу, мои однокурсницы, пожилые учительницы плачут, что почувствовали это, а мне ещё целых 7 лет быть романом. Я лежу на топчану на веранды и думаю, ещё целых 7 лет. В это время у ангела Степана Самошитога из папье-маше, гуашей, пряжи с махрушками, проволоки, пароллона, одежды из секонд-хенда, подарка на сороковой день рожденья начинают шевелиться крылья. Я думаю, нет, гораздо меньше. Из-за крыльев вылезает котёнок Иванов мельче самой мелкой крысы и смеётся.

Герой.

Бросил пить лекарство, стал пить вино. Написал повесть как от грудничка мать отказалась в роддоме, девочка, которая залетела от мальчика, которому по херу. Таких 50 за месяц в Мытищах. Написал повесть, что самоубийство это произведение искусства, меня подставили и я подставил. Написал повесть, что грудничка взяли из приюта в Америку и потом его били, потому что другая ментальность. Написал повесть, что грудничок стал писателем, потому что понял, что всё живое. Поедет преподавать курс русской литературы в Россию, потому что там много православных. Гребенщиков, Гришковец, Толстой, Шаламов, Пушкин. Слава - фук, слово умрёт, все спасутся. Жена будет издеваться, друзья не уважать, Бог любить. Грудничок пукает и агукает с ландышевым лицом на руках у измученной сиделки в Мытищинской ЦРБ.

Автор.

Вы понимаете, тёща. Им на самом деле скучно. И они придумывают себе жизнь, дела, фольксваген, Альпы. Вы посмотрите на нас. Жена, ваша дочь, так устала за 17 лет этой мутоты, муж вечно пьяненькой, за которым надо выносить судно всегда. Дочь, которая палец о палец не ударит для своей судьбы, оно само, русская. Работа, литература, куда заныривает рыба, на спине у которой мы строили инфраструктуру и боролись с терроризмом, в школе для детей, родители которых дарят распятие червонного золота, благословлённое святителем Шестиримом, потому что им нужно по литературе 4, потому что теперь такая крыша. Муж, ваш зять, который 30 лет, когда из западной группы войск приехал цинковый гроб и контейнер книг иллюстрацией мысли, что жизнь на самую драгоценную жемчужину разменять велено, кем велено, 30 лет в это «кем велено» вlepляется. В этой вlepлялочке, кем велено, 30 лет, папа, мама, вы, я, Александр Македонский, Исус Христос, несчастье, счастье, стоило или не стоило. Точка, в которую глядеть 7 тыс. лет по библии и 30 млн. лет по биологической энциклопедии никому не запрещается, ни на зоне, ни в стране, ни на рыбы спине. А вы говорите, тёща, от чего ты устал, зять? Да Гайдар в твои годы полком командовал. Сдавай на права, будешь меня на службу возить на фольксвагене, который я тебе куплю, где 4 бабушки в 20 думали, что в 40 старость начинается, в 40 думали, хоть бы до 60 дожить, а в 60 всё началось заново, потому что государство заплатило 2000 пенсии. Хоть ему, государству, дядечке с блудливыми ухватками пожертвовано всем. Дедушки, которым велели идти и умирать молча, они шли и умирали. Папы, которые даже не знали, зачем они живут после смерти Бога. Сыновья, которые поняли, что несчастье счастье. Ведь это ещё надо смочь так, тёща зятева.

Герой.

Митя Иванов, он же Патрик Зюскинд, котёнок с белым на лапе и груди, сам весь серый, знал, что бояться нельзя, что вдохновение это улица. А то как Тяпа Тряпкина, бабушкина кошка, слетела с пятого этажа, неделю была в неизвестности, потом с расширенными зрачками в одну точку смотрела, шок, советская армия, там такое было, а какое? Никто никого не любит, не жалеет. Но ведь это неправда. Это как у Толстого, а не как у Чехова, никто не виноват, что ты не можешь любить, только ты, вздыхает Патрик Зюскинд, котёнок, подросток. Ну, что сказать. Это как у мамы хозяина и у папы хозяина предубеждение, что улица это не вдохновение, а нечистота. Понимаете, один в электричке со скамьи согнал бомжа, потому что знал, что они никогда не

огрызаются. Места много было. Зато рядом которые думали так, позасирали тут, стали думать сразу так, а кто здесь не приживает? Действие рождает противодействие, вздыхает Патрик Зюскинд и задёргивает плёнками глаза, и ему чудится. На одном складе гастрарбайтеры с Каховки говорили, Хой, Хой. Как один из них полюбил старше себя у которой снимал жильё. Потом она его кинула, он хотел покончить с собой, а потом сделал духовную карьеру. В одной школе учительница с лицом птицы говорит, приезжаю с работы, выключаю телевизор, телефон, мне кажется что мир раскачивается. 10 лет назад одна знакомая семья уехала в брошенную деревню под Костромой, теперь их там уже 5 семей. Другая, Мария, говорит, всё это уже было 17 лет назад, потом было что ты это искушение корыстью и нищетой притащишь за собой в обстоятельства. Вдохновение, улица, джипы, бомжи, гастрарбайтеры, восьмиклассницы, мажоры, гопники, собачьи свадьбы, зелёное, жёлтое, проносилось в мозгу у Патрика Зюскинда. Он сладко плямкал во рту, как грудничок перед сиськой, как Акакий Акакиевич Башмачкин перед сном, что-то Бог пошлёт завтра переписывать. Одна Фонарик сказала, почему они из нас сделали таких баб? Потом сказала, так страшно, меня никто за всю жизнь не любил. Потом сказала, жизнь не удалась. Так прошло 17 лет, внутренняя работа любви шла. Один Никита думал, как выкрутиться? Как только просыпался все эти 17 лет. И единственным ответом был этот сон Патрика Зюскинда.

Автор.

Ворона Мотя Иванова на заборе, собака Блажа Юродьева в траве на участке, котёнок Патрик Зюскинд на бетонированной дорожке все видели мою маму. Мама была осеннее солнце, лента машин на Ярославке, холодные зори. У них было то общее, что они считали мою маму только своей. Только я не мог эти вдохновение и работу, потому что мне не поверили люди, и у меня были нервы. Нервы это когда хирурги режут и ставят зажимы на венах, чтобы кровь не вытекала. Нервы это вода мира. Нервы это фора. $1+1=1$. "бесконечность" - 40 = "бесконечность". Рыба нырнула под воду. Город на спине у рыбы ничего не заметил. Атомная бомба взорвалась. Всё делали, пили, съехала крыша. Жили после конца света. Под водой после конца света всё счастье. Я сделал всю эту работу и у меня были нервы. Мама, надо было отказаться, я не мог отказаться. То, что написано напечатано сразу. Я рассказывал дочке за утренним кофе, потому что она волновалась, что когда поступал после школы, то не мог говорить, потому что юродивый и провинциальный. Зато через три года после армии и завода все мне казались прапорщики Беженару и дяди Толи, делают вид, что по-настоящему то, что не по-настоящему, знают. Надо было поверить. Это не важно, кем ты станешь, музыкантом, учителем, редактором, домохозяйкой. Вдохновение и работа. Мама. Ворона на заборе, собака на участке, котёнок в траве знают. $1+1=1$. "бесконечность" - 40 = "бесконечность". Про дар сострадания. Из меня плохой учитель. Но я говорю не от своего имени, а от имени мамы.

Герой.

Слова больше не работают, это скверно. Работают дела. Башмачкин пьян жизнью. Охранников трое. У одного съехала крыша. Другой всё делает. Третий пьёт. Вера Геннадьевна Толмачёва ещё не знает, что это игра в одни ворота. Антигона уже знает. Мария боится. Никите всех жалко. Вера Верная ревнует жизнь к смерти. Ма запоминает, чтобы потом рассказать. Димедролыч понял, что иероглифы не любят. Фонарик уравнивала инь и янь. Рауль дружит. Катерина Ивановна Достоевская любит. Максим Максимыч верит. Бэла самурай. Валокардинычиха догадалась, что дело уже не в этом, а в том, что живут уже не они, а их дети, Иванов, Майка Пупкова, Соня Мармеладова, Женя Онегина, Бог на лясях, Жека, как на маме. Мама, наконец, имеет возможность взглянуть отдельно. Она неумолчна, 32 романа. Невидимый папа с пластмассовым мечом от дракона с жёлтым пузичком охраняет на центральной улице Старых Мытищей, где осень. Мария напрасно боится.

Автор.

Книга появляется, когда к ней готовы. Книга мученица, автор заложник. Висит Иуда на осине и плачет, что не смог поверить. Это тяжело, странички счастья на ветре несчастья. Две странички протягивают друг к другу ручки сквозь гиль. Сцена обнаженья. Ребёночек в яслях. Я смотрю фотографии в альбоме, мне 42. Папа с зашитым горлом в части, мне 11. Мама приехала, я с синим лицом на КПП, мне 18. Живой труп, рабочий на заводе картонных мозаик «Пазл», у дочки рыбки, птички, черепаха, свинка, кошка, бонсай, мне 30. Мумия смеётся на спине рыбы, мне 36. Хочешь,

чтобы у тебя всё было?

2004-2006

Часть 8. Стихи Никиты Янева

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

Глазное яблоко, глубокое как комнат
За стёкла уходящий томный мир,
Из наблюдения на улице, а так же
Воспоминания зелёных водоёмов собачьих глаз
В гостях на кухне друга,
Перелилось в меня и продолжалось
Короткими и яркими словами.
Так для письма по полостям предметов
Мне видимых мой взор предназначался
И был расправлен на клочке бумаги
Животную привычкой забирать
Вглубь омота зелёного, в глубины
Сетчатки и придатков сытых нервов,
Как некую добычу, всё, что свеже
Той новизной, нетронутой словами.
Благополучием пыхтящий 21-й
«газ», женщина с покупками, трико,
приросшее к балконному канату.
Стекло подъезда, пропускающее в чрево
Той какофонии, что есть домашний быт,
Помноженный на цифру «сорок пять».
И все кивали, были тонки взмахи,
И в солнечных свободах словом дружбы
Я радовал затворницу судьбу.

1989

ЖД

Складки плаща целомудренно-девственной ночи.
Ночь покрывала пространство от неба до неба.
Ночь шевелилась огнями и плавала птицей.
Чёрным крылом отражалась в колодцах бессонниц.

Снами была, несчастными, странными снами.
Ветки качала, врала в изменённые лица.
Где-то в дороге мосты, города посылала.
Стрелочник ночь, маневровый трудяга.
На переездах грудила пустые вагоны.
В доме путейца глядела сквозь тёмные стёкла
Вслед убегающим теням ночного движенья.
Ночь неспроста завела себе память.
Кто ты, поэт, не поэт, переводчик из речи
Капель дождя на стекле проходящих составов,
Дела ей нет. Все дороги стремятся
Снова в себя. Их поэтому дело
Быть незаметными в людях, в постройках, в работе.

1989

СЕДЬМАЯ МОСКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

И отрывать у небытья значенья,
Копить слова, как небо копит звёзды,
Как плод в саду накапливает влагу
Всем телом жизни, что сочна и ярка,
Она внутри него, его творит снаружи.
И узнавать, и узнаванье будет
Зачерпнуто в колодцах бытия
Пригоршнями, глотками, задыхаясь.
Но успокоивши глубокое волненье,
Как воздух пьются, и земля, и небо,
И отчуждённая волнением вода
Глухого понимания природы
Всего того, что мы зовём мгновеньем.
Ты ненавидел лишние тона,
Но ты поймёшь, что только в них ты полон,
И ты не находил себя в пространстве
Слеплого задыхания простором.
Но ведь не ты, а небо катит волны,
Которыми упьётся всё живое
И ты не обессудь, в его глазах
Ты только человек один, и только.
И что, что знаки кровного родства
Тебя обескураживают в мире,
Где быть живым есть быть живущим болью
Для понимания, а говорить слова,
Привычка и ненужная, быть может.
Когда тебя ударят, отвечать
Не сможешь ты и чтобы не ударить
Наговоришь ещё так много слов,
Что ты один не будешь верен миру.
И будешь рваться от людей туда,
Где только тишина и размышленье
Тебя спасут от сумасшедшей мысли,
Что ты здесь лишний, потому что нет
Ответа на проклятые вопросы,
Повешенные в небе мертвецами

И нет ответа на твои призывы.
Но разве так с людьми не посылает
Тебе вся жизнь всю жизнь без измененья,
И разве не в саду ты бродишь жизни,
И разве не прекрасен этот сад
В минуту совпадения ударов
Его сердец с твоим, прикосновенье
Неуловимо и полно как боль.
Ты чувствуешь дыхание вселенной,
И сразу на губах, когда целует
Тебя любимая, ты отдаёшь ей возглас
Принятия всего сполна навеки.

1989

ЭЛЕГИЯ

Проём в стене, что выел солнца свет,
И в жёлтом воздухе качается картина,
И говорит тебе, ты розовый влюблённый,
И как же ты меня не замечал.
Она висит здесь год, другой и третий
Над матовой пластмассовой розеткой...
Так и другое входит в жизнь твою
В минуту предвечернего затишья
Или в бессонье синем на заре,
Когда мир полон милого ребёнка
Под крики пролетающих ворон,
Поднявшихся как деревенский житель
До солнца, чтобы вывести скотину
На луг, сияющий прозрачною фатой
Сиреновой росы, застывшей в лицах
Произрастающей таинственной травы
С утерянным названьем, потому что
Она образчиком для чистого искусства
С корнями вся ушла в глухую жизнь
Надмировых и внутренних забот,
Всем существом, настолько, что утрами
Приходится нам голову ломать,
Чем нам дано такое совершенство.
Так долгий день и простояло павой
Со всем живым и неживым портретом
Течение наших мыслей о природе
Всего того, что мы зовём природой,
Плывущую в воздушном водоёме
Тел, растворённых тонкой оболочкой
В живой воде лекарственного солнца,
Предупредительно налитого в бокалы
С дождём или снегом, ветром или зноем,
В зависимости музыке, звучащей
В гортанном ресторане наших дней
Хрустящим накрахмаленной сорочкой
Официантом, провиденьем, гидом

Со лживою, лоснящейся улыбкой
Или таинственную, после перепою,
В услужливо протянутой руке
Держащего меню, перо, салфетку.
И всё равно, что выберете вы,
Накроет только вилки и ножи,
«а остальное, - скажет, - не готово».
Мы не торопимся, куда нам торопиться.

1989

МОЛИТВА

Всё помогает людям жить:
Цветок в горшке, травинка,
Мозаичные витражи,
Последняя былинка.
Исчерпывающая полноту
Обрамленного тела
Неярким светом, наготу
Во множестве пределов
Исчерпывающая, вознося,
Исчёркивая строчки.
Так бьётся баба на сносях
От шевеленья дочки
Уже отдельной в ней самой
Пространственной и сшитой
Из разноцветных лоскутов,
Молитвою, пролитой
Из формы света на внутри
Встающие виденья,
Из фиолетовой зари
С малиновою тенью.

1990

НЕ УБОЯЛАСЬ БЫ

Импровизируя о том,
О чём сгореть желал бы даром,
Глядя сознательным пожаром
На прижитой металлолом,
Гармоний, якобы, ища
В околоземном водоёме,
Не убоялась бы душа
Быть рыбой, ласточкой и кроме
Того, бравируя, гордясь,
Импровизируя, калечась,

Ища прижизненную связь,
Так называемую вечность,
Меж ларами и небытьём
Бросаясь с головой в пространство,
Людских названий и имён
Стараясь выговорить царство,
И артистически скорбя
Над внутреннею пустотою
Своею умолчать себя
Всей линией береговою.

1990

ПРО МЫТИЦИ

Не восемь рук же у меня,
Сказала дочь и дверь закрыла,
Таша игрушки в свою детскую,
А я припомнил Достоевского.
Гуляли с ней, гуляли прочие,
Не любящие детский сад,
И бабушка одна, короче,
Рассказывавшая всё подряд,
Рассказывала, что работает
В гинекологии, когда
Из школы высыпали школьники
Во двор, 2 сентября.
Сказала, мол, что вот такие же
Лежат у них, их очень много,
Про триппер уж забыли, сифилилис,
Пятнадцать и шестнадцать лет.
Последние два года, вставил
Про наше время робко я,
Она рассказывала дальше,
Под капельницей и аборт.
Приходят очень поздно, дети
Не могут быть нормальны, но
Одна решила и рожала,
Как видно пролечилась, термин.
Потом подростки загалдели,
Засквернословили, она,
Теперь начнётся мат, сказала,
Детей нам уводить пора.
Какая встреча в самом деле,
Рассказывала, что гимнастка,
Теперь пошла в плеча и бёдра,
Внук тёмные очки разбил.
Рассказывала, что муж бросил,
Из шестерых троих сгубили,
В трёх комнатах одна кукует,
А в поликлинике народу.

Теперь лежит в Северодвинске,
Парализован и зовёт.
Обычные, чуть пожилые,
Мне разговоры обо всём,
О многом догадаться дали,
Про женщину, про Достоевского,
Про свой характер, про любовь.
И вот раскрылась эта книга,
Что жизнью многими зовома,
На той странице, что пролистывалась
По недосугу и смущенью.
Простая девочка из плоти
И голяка родомый плод
Сумела полюбить для детства,
В Мытищах умер князь Андрей.
РАССКАЗ

Горлов сам не знает
Какой он нынче мужественный.
Миша, раб лампы,
Холодный и простой.
Совалёв, затепливший
Жизнь возле пропасти,
Для девочек и мальчиков
Построивший дом.
Марина несчастная,
Женской доли образ собирательный,
На котором держится целая страна.
Ира Совалёва,
Посвящённая в рыцарство.
Оля Тараканова,
Влюблённая в Меншикова.
Маша Коляскина,
Занимающаяся тейквандо.
Ира Ульярик,
Ренессансно улыбающаяся,
Наташа Соловова,
Жена разведчика,
Петя Богдан
И Саня Фёдоров,
Жители города,
Клетки вселенной,
Футбольные мученики,
Приходька двойной,
В нём благородство любить
И сладострастие корысти,
А я не могу отвязаться от Соловков
И боюсь улицы.
Мой герой, писатель,
Который не пишет ни хрена.
Потом беру, приделываю
Ангела с мечом,
Серафима шестикрылого

От имени жизни.
Сразу получают
Отшельники, мученики,
Святые, бесноватые,
Становится видна
Помощь. Повесть пишется
Не фабричным изделием
На фабричном изделии,
А вилами на воде.
Вот это хорошо.
Так Бог говорил
В одной книге.

2000

В ПОЕЗДЕ

В бывшем осколке великой империи
С лёгким названьем окраина
Скифо-сармато-казацкие прерии
В поезде пересекаем мы.
Мазанки, известняковые домики,
Хаты из ракушняка,
Вверх корешками раскрытые томики,
А на страницах века.
Чересполосица плодоношения,
Цифры доходных щедрот,
Лозы, бахчи, абрикосы, черешня
И изобилия рог.
Пылью как воском залитые тополи,
И фрикативное «гэ»,
И Мариуполи, и Мелитополи,
Месяц на длинной ноге.
Грустным подобием новой Америки
Чичикова Слобода,
Не обошлось без советской истерики
И я родился тогда.
Папа - болгарин, мать - Фарафонова,
Север, юг, запад, восток,
Материковое слово «херово»,
Стыдное слово «сынок».
Семь тысяч дедушек от сотворения,
Третья тысяча лет
От рождества, было богоявление,
Ну а теперь его нет.
Я прихожу на заросшее кладбище,
Птица на ветке поёт,
Как маму крысу не убивала,
Думала, бабушка ждёт.

2003

ПОТОП

Всё замерло и ничего не слышно,
И только дождь бормочет под окном
Немую песню 10000 лет.
Гудок болельщиков на тротуаре,
Подростки шумно празднуют победу,
И снова смерть подростков и машин.
И только дождь рассказывает листьям,
Что он размочит всё до основанья,
Чтоб ничего не оставалось твёрдым.
Потом электродрелью самолёт,
Потом не то что пьяные, а просто,
Желавшие быть пьяными совсем,
Выкрикивают знаки восклицанья,
Сшивающие оба этих мира
Суровой ниткой вымысла. Вода
Встаёт сплошной стеной, как обещала.
Из дыма низкой облачности внятно
Глядит лицо и хочется сказать,
«второй потоп». И хочется молиться.
И я молюсь, «не оставляй нас, Боже».
«Ты видишь всё, все помыслы, все лица,
Все линии прекрасных тел и судеб,
Всю черноту на дне моей души,
Мой страх, мой гнев, мою больную совесть.
Но я ведь тоже кое-что могу,
Ну, например, сказать дождю, не лейся».
Всё замерло и ничего не слышно.

2004

НА СМЕРТЬ БАБУШКИ

1.

Как жила, так умерла.

Осенью, с первыми холодами,
в конце августа.
В конце жизни бил сын,
всю жизнь горбатилась неизвестно на кого.
А сын был рядом и похоронил.
Легла в свою землю
рядом с сыновьями,
подорвавшимися детьми на mine.
На лесном погосте
пили, курили, смотрели в землю,
глядели вдаль,
а в глаза не смотрели.

2.

Твоя душа меня взыскует, бабушка,
а что я могу, я ведь нищий.
Мне даже не жаль,
у меня нет жалости ни к кому.
Осталась одна капля любви,
как её разделить на долгую-долгую жизнь,
разве что выплеснуть в первом глотке.
Но это нельзя, такое не любовь,
а самоупоение.
И люди это знают, когда горбатятся на земле.
Заматеревают в корень.
Делаются отдельными, злыми и жалостливыми.
Такими уйдут уже, всех простив,
передо всеми попросив прощения.

3.

О священная минута казни,
ты не состоятельна перед новым шагом,
кто его сделает, кто его сделает.
Как надо бояться жизни,
как надо сторониться людей,
как надо любить природу свою,
чтобы сделать его, этот шаг.
Запрокинуть руки, упасть на землю,
смешаться с прахом,
думать, помнить, понять.
Ты не один на земле,
ты не один,
не один.
Это ты, твоё, этот сброд и хлам.
Это твоя чистая слеза:
пот поколения
в крови зачатия,
в слизи семени,

в блюде эпохи.
Восстающее семя жизни.
Новое солнце рядом с прежним,
ещё невидимое, уже не видное.
Неневинное солнце памяти.
Ещё усилие, оно поднимется
над нашими головами,
из наших голов построенное.
О нежный ребёнок, тронь своим оком коснящим
нас, костерящих твоё рождение.

4.

Так жизнь позвала,
как долго я ждал
этой смерти,
этого рождения.
Новая судьба, бабушка,
ты освобождаешь своё место.
Только бы не потерять твой свет.
Живая звезда живёт и ждёт,
когда же уже её позовут,
потребуют даже на землю гнилую,
прогнившую потом и солью, и кровью,
пропитанную семенем поколения
одного, другого, третьего.
И так до бесконечности.
Когда же судьба достигнет нас
со своим ударом в руке?
И вот удар камнем по темени,
звезда ли упала, родилась ли новая.
Мы летим сквозь фиолетовый свист ветра,
мы делаем ногами шаги, толкая.
Но когда-то и к нам притронется
нежное дитя пальцем холодным.
Кто ты, смерть, чего тебе надобно,
будет спросить уже некому.

5.

А нам ответят: это видите.
И мы ответим: это видим.
Ну тогда ступайте, скажите повести
никому, былью подросшей совести.
Вы видите, как на былинках, на ковыле
играет этот ребёнок невесомый.
Он, может, и розовый, и брюхо у него есть,
и пачкает пелёнки жёлтым,

да показать некому.

Зато не держит дулю в кармане,
когда к нему разевают рты
как рвы пичуги, прорехи, падали.
Проросшей земли стебли и горла.
Мол, что-то надо, а что, Бог весть.

6.

И слово “умерла”, может, самое благонадёжное из слов.
Сколько в нём добротной радости и укрепления.
Нам, живущим, твёрдая весть,
всё окончательно и трагично.
Тревожная новость, почти веселье,
как сплетня, которую нельзя не выболтать.
Вот наша родина, совсем юродивая.
Как спрятать нежность к себе, покойникам,
теперь отходящим в обитель райскую.
Хотя бы тем Эдем блистающий
уже удружил, в Эдеме выслужился,
что словно с капусты кочана снимаем им
последний лист в борщ истории.
Отнесёмся к покойнику кочерыжками
своих голов, животов, боков.

7.

К нам идёт жизнь, житуха, жизнь.
Мы её не любим, когда-никогда приглубим
тем самым что есть мы сами.
Но есть мы любим, мы пожираем
её с костями, с одеждой, с пахом.
А что ж, давай нам да наливай нам
ещё добавки, сливай остатки.
И будут сливки, сметана, масло,
и будем ползать костями в прахе,
и будем плавать в дерьме, в навозе,
и скажем слово одно на свете.

8.

Любовь сияет недотрогою.
Мы это слово подглядим,
когда в могилу уложим бабушку,
у мамы мама тогда была.
Теперь какое-то глухое молчание
на том конце телефонного провода.
У мамы мамы больше нету,
что делать сыну, вернее внуку?
Уж коли делать, сосать пустышку?
копать могилу? прикинуться валенком?
Вот шанец выстоять
против молчания.
Ни слова фальши,
ни слова чести.
Всё честь по чести,
досужий вымысел
из пальца высосан,
бери лопату.
Любовь сияет недотрогою.

1993

(1989-2009)